Владимир АЛЬБРЕХТ

ЗАПИСКИ НУДНОГО ЧЕЛОВЕКА



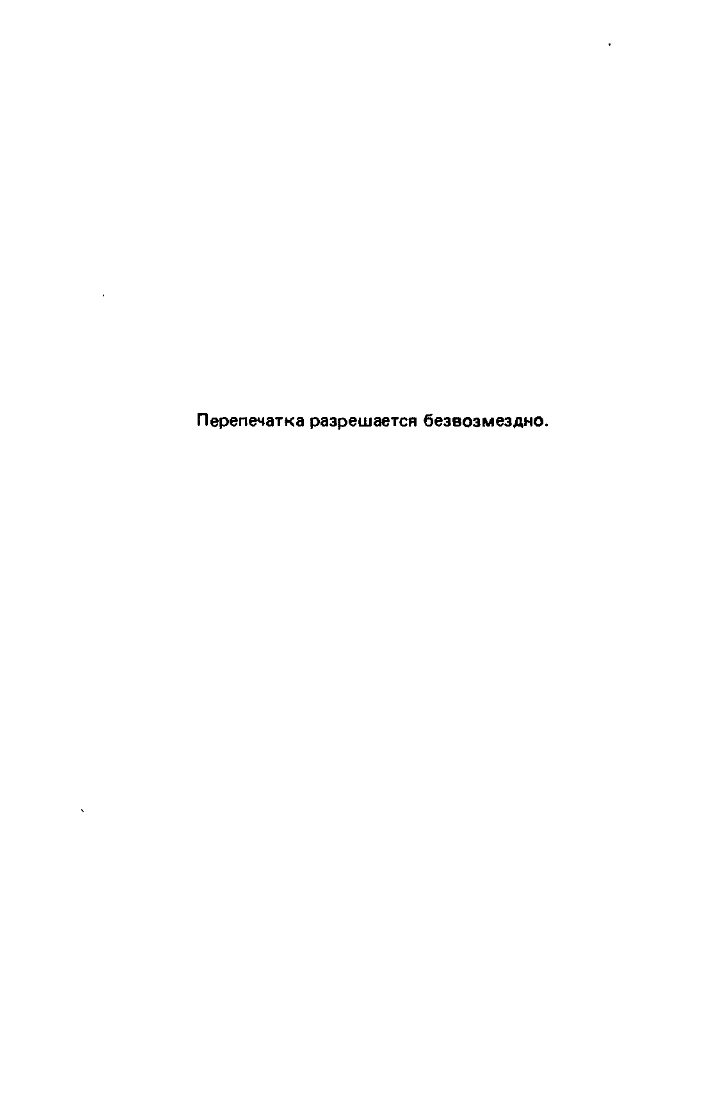
Издание журнала А-Я

Владимир АЛЬБРЕХТ

ЗАПИСКИ НУДНОГО ЧЕЛОВЕКА

* * *

Издание журнала „А-Я"
Париж, 1983



В районную прокуратуру

Мне отказано в выезде за границу. Поскольку проживание в этой стране, с моей точки зрения, преступно, что само по себе есть преступление еще большее, то прошу Вас возбудить против меня уголовное дело.

Сантьяго. Чили. (Подпись, дата)

Гомеопаты – врачи особенные.

Один гомеопат, говорят, советовал не представлять в ОВиР вызовы от „родственников". Логика такова: ОВиРу трудно будет обманывать „отказников", если те откажутся обманывать ОВиР.

(Слухи).

Свидетель: Не понимаю, какое отношение Ваш вопрос имеет к делу?

Следователь: А Вам не надо этого понимать, надо только отвечать.

Свидетель: Трудно отвечать, не понимая.

Следователь: Так Вы все равно ничего не отвечаете...

(Из бестолкового допроса по непонятному делу).

ПОЧЕМУ НЕ ПОГОВОРИТЬ?

(Вместо предисловия)

Отказникам из города Житомира пишу жалобу в „высокие инстанции". Отказники – ветераны войны, и мне хотелось бы сделать им приятное. Но все-таки то, что я напишу, еще не обязательно понравится отказникам из города Житомира, – впрочем, в „высоких инстанциях" это тоже не обязательно понравится.

Отказники, как известно решение собственной судьбы наблюдают, по крайней мере, дважды – когда вдруг получают отказ и когда вдруг получают разрешение. Но лишь в одном из этих двух случаев они готовы протестовать.

Однако вернемя к жалобе. Обычно, размышляя о чем-ни-

будь, человек обращается к логике. С ее помощью он приходит к выводам. Но как быть человеку, когда выводы известны заранее?

Сначала ставится цель, т. е. заранее дается вывод, затем конструируется та логика, которая приводит именно к этому, уже сделанному выводу. Подобную логику назвал „логикой цели", кажется , Чалидзе. Но важно не название, а „способ приготовления". Зачастую способ незамысловат, и, рожденный в голове демагога, он легко переходит в голову рассказчика анекдотов. Ведь анекдот создается с помощью такой же неполноценной логики, с той лишь разницей, что анекдот всегда высмеивает свою конструкцию, а демагогия за нее вполне серьезно держится.

В нашей жизни мы сталкиваемся, к сожалению, со множеством анекдотических ситуаций, порожденных демагогией самого широкого спектра — от незатейливой житейской до замысловатой научной.

— Да о чем он думает, — удивится читатель. — Если собирается написать жалобу в высокие инстанции города Житомира, при чем тут размышления про логику, про демагогию, про анекдоты? Неужели нельзя попроще?! В конце концов, неужели стиль изложения жалобы способен повлиять на конечный результат? Представьте, читатель, и я думал, что не способен. Думал до тех пор, пока несколько лет назад один остроумный человек не написал в отдел кадров: „Идя навстречу пожеланиям райкома, а также в целях дальнейшего сплочения коллектива работников нашего преприятия, прошу уволить меня по собственному желанию".

Это заявление отдел кадров принял, но уволить по нему не сумел. Вот тогда-то, наверное, и возник особый стиль заявлений. Стиль анекдота. Формальная просьба оказалась здесь фактически противоположной фактической просьбе.

Сравните два примера: „По просьбе майора Пронина прошу не присылать мне посылок из-за границы" или „Прошу, по совету подполковника Потапова развести меня с мужем, который по решению Потапова пребывает сейчас в карцере".

Итак, когда возник свежий вкус к написанию деловых бумаг, тогда же возникла и новая теория.

Бумага, которую я пишу, согласно этой теории, должна содержать два связанных компонента. *Первый* — идея, или, лучше сказать, описательная часть. С помощью некоторой логической схемы она приводит к неожиданной просьбе. *Второй* — это неожиданная просьба, — главным образом, ее формальная сторона, которая значительно меньше фактической стороны, или даже абсолютно отличается от нее. Оба компонента обязаны сложиться в лаконичный юмористический сюжет без ложной патетики, без грубых выводов и без лишнего зубоскальства. Если бы, например, удалось „описательную часть" и „просьбу" измерить соответственно в условных единицах какими-то двумя числами, то ценность письма определялась бы дробью, в числителе которой находилось бы первое число, а в знаменателе — второе. Иначе говоря, чем ярче и лаконичнее „описательная часть", чем мельче формальная просьба, тем больше, наверное, шансов получить хоть какой-нибудь ответ. Кстати, от чиновника в этом случае Вы требуете не ответа по существу вопроса, как требуют обычно. Вы требуете вроде бы только формального ответа — того, что он давал всегда с легкостью необыкновенной.

Пример. Начальник ОВиРа дает своему сотруднику указание в течение двух месяцев ответить на заявление отказника Вольвовского. Через два месяца Вольвовский пишет снова, рассуждая примерно так: поскольку срок два месяца для разбора жалоб не предусмотрен законом, что, наверное, помешало сотруднику ОВиРа выполнить распоряжение своего начальника, то, естественно, теперь приходится просить нового срока рассмотрения, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 12 апреля 1968 г.

Заметьте, Вольвовский не повторяет в своем письме первое заявление. Он формально занижает свою просьбу.

Еще пример. Жене бывшего отказника Виталия Рубина сообщили, что у ее мужа уникальная специальность (он специалист по древнекитайской философии), и это препятствует отъезду в Израиль. В своем письме в ОВиР по сему поводу жена не стала слишком горячо оспаривать решение этого почтенного учреждения, зато она поставила вполне ясный и нормальный вопрос: „Не в том ли уникальность специальности ее мужа, что он сейчас нигде не может найти работу?"

* * *

— Да, это интересные примеры, — сказала машинистка, — кстати, когда по постановлению прокуратуры обыскали мою квартиру, я написала жалобу в прокуратуру... Вы помните?

— Помню, Вы заглянули в УПК, узнали, что нарушено, и написали.

— Совершенно верно. А Вы рекомендовали поступить иначе. Считая упомянутые мною нарушения второстепенными, Вы советовали особо выделить тот факт, что, стоя под дверью моей квартиры, следователь прокуратуры обманул меня...

— Да, я вспомнил, он притворился почтальоном, который принес телеграмму. Прямо как серый волк под дверью у семерых козлят.

* * *

Итак, главная забота пишущего жалобу, — принизить просьбу (имеется в виду формальная просьба). Различные обстоятельства дела иногда подсказывают удачный путь. Хорошо, когда формальная просьба противоположна фактической, однако точно так же хорошо, когда формальная просьба исходит вообще не от Вас. Например, выгоднее сразу написать объяснение в связи с незаконным задержанием, чем потом писать жалобу по тому же поводу. (В объяснении Вы пишете главное: что оно дается по просьбе того-то, в связи с тем-то.)

Иногда, к сожалению, формальную просьбу не удается принизить. В таком случае, наверное, есть только два выхода: либо „возвысить" описательную часть, либо искать другой сюжет, то есть другую описательную часть и другую формальную просьбу (при той же самой фактической). Второй путь как будто лучше, поскольку первый, в основном, — чисто литературная проблема. Он требует отказа от лаконичности и нагнетания патетики. Короче говоря, хочешь просить, чтобы тебя не убили и не посадили в тюрьму, — пиши про это толстый и, главное, талантливый роман. Естествен-

но, мы выбрали второй путь, и теперь нам нужен лишь пример, чтобы лучше понять то, что мы выбрали.

...Предположим, за разговор по телефону с абонентом из Тель-Авива у Вас отключили аппарат. Разумеется, Вы жалуетесь в соответствующее ведомство. „Почему Вы отключили мой телефон?" — а это, по сути дела, то же самое, что и просьба „Включите мой телефон, пожалуйста". В любом случае Вам пришлют туманный ответ со ссылкой на какой-то пункт какого-то постановления. Где же, спрашивается, выход?

Выход может быть найден. Вы пишите, допустим в прокуратуру, где объясняете ситуацию так: из ответа телефонной станции ясно, что телефон выключен на основании содержания подслушанного разговора. Следовательно, прокуратура дала санкцию на подслушивание. Однако по закону такая санкция выдается в случае возбуждения уголовного дела. Поэтому Вы просите ознакомить Вас с возбужденным против Вас уголовным делом. Разумеется, Вы понимаете, что никакого уголовного дела против Вас нет. Но, ставя власти в неловкое положение, мы имеем шанс убедить их включить телефон.

Понятно, что одна хорошо написанная бумага не решает проблемы. Нужно, наверное, много хороших бумаг. Сколько? По-видимому, столько, сколько нужно...

Новая мода писания бумаг родилась как компромисс при столкновении двух противоположных точек зрения. Одни считали: здесь все бесполезно. Другие говорили: очень многого можно добиться. И вот вдруг появились третьи, которые стали думать и предлагать новое.

Новая мода уповала на чистоту слога, на красоту спора, на компетентность, на юмор. Короче говоря, на все то, что способно вызвать широкий интерес и симпатии публики. И важно стало не выиграть, а красиво проиграть. Переписка с должностным лицом рассматривалась уже как наиболее удачное воплощение спора двух людей, один из которых боится, как бы о нем не узнали за границей, а другой наоборот... и даже более того.

Разумеется, новая мода касалась не только стиля написания бумаг, — она явилась чуть ли не новым стилем жизни

или, по крайней мере, стилем поведения. Поэтому, наверное, не все ее понимали и не все приняли. И когда власти арестовывали хорошего человека, большинство его друзей по-прежнему предпочитали посылать многословные протесты на Запад. Но уже появились те, которые писали гораздо короче и по другому адресу: „Уважаемый следователь. Мне изветно, что Вы расследуете дело такого-то, арестованного тогда-то. Поскольку я хорошо знаю этого человека, я совсем не против дать показания в качестве свидетеля по его делу". Затем в протоколе допроса оставалось только лучшим образом изложить то важное, что писалось в упомянутом выше протесте. А что значит „лучшим образом"? Ответить на этот вопрос позволит опыт (свой и чужой).

Когда два человека спорят, то для каждого важно проверить реакцию оппонента, важно предвидеть вопросы, которые он задаст, и найти на них удачные ответы. Не следует выкладывать все аргументы сразу: их лучше расставить в диалоге так, чтобы они не задевали друг друга, не мешали друг другу, дабы сильнее разили неприятеля.

Новая практика говорит, что диалог лучше монолога. Некогда честный человек просто и обстоятельно отвечал следователю на допросе. Теперь, будучи опытным, он тот же самый обстоятельный ответ стремится „выдать по кускам", т. е. разбивает его на части с помощью вопросов, которые заставляет задавать следователя. Некогда человек писал жалобу, стараясь подробно все как есть объяснить. Теперь он старается писать коротко и часто, иногда даже непонятно (пусть спросят). То есть „свое дело" (свою обстоятельную длинную жалобу) он разбивает на куски ответами из различных инстанций на письма, в которых он постепенно, не спеша излагает это самое „свое дело".

— Вы отвлеклись от отказников из города Житомира, — заметит читатель. — Что же вышло с письмом в высшие инстанции?

— А ничего не вышло. Все дело в том, что я хотел добиться невозможного. Я хотел одновременно и им помочь, и им угодить. И, самое главное, я должен был писать правду.

Представьте себе, четыре старых еврея желают уехать в Израиль. Точно так же, как четыре татарина желают уехать

в Татарию или четыре француза — во Францию. Политический строй Израиля здесь не при чем.

Почти сорок лет назад этим же четырем евреям (тогда они были еще молодыми) доверили оружие, чтобы защищать Советский Союз от его врагов. Нелепо не доверять им сейчас и считать их предателями. Они никого не предали. Их жизненные представления за последние сорок лет нисколько не изменились.

— Вы уверены?

— Уверен. Потому-то у меня ничего и не получилось с ними. Письмо, которое я написал, им понравилось, но оно заканчивалось необычной фразой: „ ...и нам хотелось бы верить, что тогда, в сорок пятом, мы прогнали с советской земли всех фашистов, всех до единого''.

Эту фразу они не в силах были ни принять, ни отвергнуть.

— Почему?

— Потому, что они легко позволяли себе входить в положение тех, кому было адресовано письмо, и в то же время боялись сами войти в свое положение, а тем более вместе со мною.

— Почему же Вы тогда написали это письмо? Вы их не сразу поняли?

— Нет, я все сразу понял. Я писал с удовольствием, потому что они были хорошими добрыми людьми.

* * *

Для начала — притча.

В городе М. недружно жили отказники: Моисей Моисеевич и Соломон Соломонович. Каждый из них понимал события по своему разумению и так же по своему разумению действовал. Моисей Моисеевич с утра до вечера гонял чаи с приезжими иностранцами, сидя в своей квартире на улице имени крупнейшего пролетарского писателя. Соломон Соломонович в центральной и орденоносной библиотеке имени другого известного товарища изучал, неизвестно зачем, постановления Облсовета за последние восемнадцать с половиной лет.

Шло время. Туристы, посетив Моисей Моисеича, уезжали

домой в Америку просить мистера Джонса намекнуть мистеру Адамсу, чтобы он, в свою очередь, намекнул мистеру Киссинджеру, чтобы тот повлиял на... скажем, Ивана Ивановиа, чтобы Моисея Моисеевича выпустили, наконец, к родственникам в Израиль. Соломон Соломонович, действуя другими путями, отправлял, тем временем, письма в республиканское министерство, жаловался в городскую прокуратуру, взыскивал через районный суд недоплаченные ему 3 рубля 07 копеек.

Прошло время. Мистер Джонс поговорил с мистером Адамсом. Тот написал своему другу мистеру Киссинджеру, ну а мистер Киссинджер при встрече шепнул что-то Ивану Ивановичу, который, подумав, ответил: „Ладно". И сразу бумага с грифом „секретно" пошла вниз: „разобраться и доложить". Шла она не быстро и не медленно, и именно так, как ей было положено идти: сначала к Балтазар Балтазарычу, оттуда к Абалмас Абалмасычу, оттуда к Потап Потапычу и, наконец, в город М., где молодой референт Петя клал ее на стол Тим Тимофеевичу.

— „Разобраться и доложить!" — восклицал про себя Тим Тимофеевич. — Это, пожалуй, самый лучший повод доказать лично Абалмас Абалмасычу, что он сам и аппарат его работают на редкость точно.

— Времена нынче не те, — рассуждал Тим Тимофеич. — Нет теперь у нас ни культа личности, ни волюнтаризма. Никто мне приказывать не смеет. Демократия у нас, товарищи! — вспомнил он фразу из чьего-то доклада. — И хоть я ненавижу, допустим, Моисей Моисеевича в качестве злобного врага, ничего сделать в отношении его лично не хочу.

Другим было отношение к Соломон Соломонычу.

Тим Тимофеевич чувствовал, с какой внутренней ухмылкой *ученый* референт Петя кладет ему на стол форменные издевательства Соломон Соломоновича. Он понимал, что, пока жив Соломон Соломонович, его, Тим Тимофеевича, жизнь будет состоять из серии анекдотов, сочиненных Соломон Соломоновичем и рассказанных тем же Петей. А Тим Тимофеевич, надо сказать, берег свой авторитет пуще всех своих печатей и бланков. И ради сохранения своего авторитета он вынужден был отпустить Соломон Соломоновича и

удержать Моисей Моисеевича. Соломон Соломонович это понял первым. Вторым это понял Петя, но, наверное, последнее нам знать не обязательно.

Так вот, Моисей Моисеевич и по сей день на том же месте гоняет чаи с иностранными туристами. Он стал видным „отказником" и даже поборником прав. Хотя по сути он все такой же спокойный, симпатичный и скромный человек, отзывчивый товарищ. И когда все увидели, что он не меняется, его начали принимать за символ. Вышло так, будто никто не хочет его отъезда (а некоторые считали, что этого не хочет и сам Моисей Моисеевич).

Другое дело Соломон Соломонович. Сидя в шикарном автомобиле на фоне желтых камней старого Иерусалимского Холма, сейчас, в эти самые минуты, он уговаривает, представьте, известного Вам мистера Джонса, чтобы тот поговорил со знакомым вам мистером Адамсом, чтобы тот попросил через хорошо вам известного мистера Киссинджера самого Джимми Картера объяснить всем известному борцу Моисей Моисеевичу, чтобы он хоть немного постоял за себя сам.

* * *

...По дороге домой встретил полиглота Николаева. Поговорили о зиме и о холоде.

Николаев хочет „к родственнику в Израиль". Кроме того, он хотел бы обменять зимнее пальто, которое досталось ему в наследство от Буковского, на пальто Корвалана.

* * *

Получил, наконец, от машинистки письмо, которое давно намеревался передать адресату. Стиль, правда, нудный, но у меня всегда такой.

Уважаемый Сергей Владимирович!

В соответствии с Вашим желанием стать членом Советской группы Международной Амнистии, во-первых, передаю Вам для ознакомления статут группы и, во-вторых, возвращаю те бумаги, с которыми Вы меня ознакомили.

Позвольте ряд замечаний.

Статья I статута группы формулирует, по возможности полно, наши цели, и, как Вы видите, они имеют слишком мало общего с Вашей главной целью — покинуть пределы Советского Союза. А поскольку Ваше намерение эмигрировать продиктовано соображениями политического характера (что следует из Ваших бумаг), я предвижу определенные затруднения в будущем. Статья 2 обязывает каждого из нас действовать на основании законов страны. Если Вы отвергаете советские законы, то, очевидно, нам трудно будет сотрудничать. Хотя, может быть, я неправильно понял Вас.

Кроме того, говоря по совести, мне не хочется, чтобы наша группа использовалась как ширма, маскирующая какую-то иную цель, пусть даже такую невинную, как Ваша. Но это вовсе не значит, что я Вам не сочувствую. Действительно, выехать из Советского Союза не так просто. Желающие эмигрировать почему-то должны искать родственников не где-нибудь, а в „плохом" Израиле и вообще идти на различные ухищрения, требующие иногда нескончаемой фантазии.

Посмотрите. Два журналиста создают собственное Агентство Печати, что якобы помогает им получить визу. Однако известного писателя М. П., который пытался последовать их примеру, постигла неудача. Пришлось писателю придумывать другое. Он идет в ОВиР и говорит, что решил стать корреспондентом журнала „Грани". В результате писатель М. П. уезжает к родственнику в „Израиль", а новые кандидаты в эмигранты опять ломают головы. Впрочем, вероятно, это лучше, чем похищать самолеты или переходить границу.

Сергей Владимирович, понятно, что Вы хотите „всего лишь" стать членом нашей группы. Мое мнение по этому поводу Вам уже известно. Я высказал его Вам и, если помните, по Вашей просьбе объяснил, почему создание еще одной группы Международной Амнистии вряд ли сейчас возможно.

Но, очевидно, Вы меня плохо поняли. Отсюда и возникает необходимость письма. Я Вам, конечно, доверяю и именно поэтому не хочу видеть Вас среди тех немногих, кто пытается приписать нашей группе то, что нам вовсе не свойственно, т. е. цель, которой у нас не было и нет (уезжать мы не собираемся, и группа создана не для того). Тем не менее,

я хорошо понимаю главную Вашу цель. И если Вы хотите помочь, а не повредить нам, то у меня, наверное, окажется возможность помочь Вам лично. Для этого просто необходимо ответить на мое письмо.

С уважением Владимир Альбрехт.

9 ноября 1977 г.

* * *

— Кто такой Моисей Моисеевич, я догадалась, — говорит мне машинистка. — А кто такой Соломон Соломонович?

— Соломона Соломоновича Вы не знаете. Он так быстро уехал, что его здесь никто не знает.

* * *

Говорят, милицию интересует, где работает Абрамович, Абрамовича интересует, почему это интересует милицию. Между ними происходят объяснения. Милиция живет чуть ли не интересами Абрамовича. Абрамович тоже живет, живет своими интересами, но неизвестно на что и как, а главное, он продолжает не понимать — откуда взялся столь нескромный интерес к его очень скромным интересам.

* * *

Вечером написал жалобу в Прокуратуру, пятую по одному и тому же поводу.

В Прокуратуру СССР...
от Альбрехта В. Я., проживающего...

В открытке от 4.11.1977 г. за № 71 Прокуратура СССР уведомила меня о пересылке моей жалобы в Харьковский обком КП. Прошу сообщить, обязан ли Харьковский обком КП дать мне ответ на жалобу, и если обязан, то в какой срок.

(Подпись, дата)

Дело как будто простое: четыре месяца назад я отправил в редакцию харьковской газеты „Красное знамя" письмо.

Теперь я хотел испытать все доступные способы для меня, чтобы убедить или вынудить редакцию газеты прислать мне хоть какой-нибудь ответ, на который я по закону имею полное право.

Письмо такое:

В редакцию газеты „Красное знамя"

(по поводу публикации статьи Н. Соловьева в номере от 13 июня).

Мне стало известно, что в номере от 13 июня сего года упоминается о моей беседе с рядом лиц якобы о том, как надо обходить советские законы. Такое мнение является заметным искажением действительности, поскольку говорил я как раз о другом, — о том, что необходимо уважать не только формальные законы, но и мораль вообще. Уважать, кстати говоря, даже в тех случаях, когда эта позиция не представляется выгодной, то есть когда она сдерживает позыв к дешевому протесту как легкому, но не слишком честному средству добиться скорой справедливости, скорой „победы".

В статье Н. Соловьева приводится чье-то мнение, что я шизофреник. Чье мнение — неизвестно. Я думаю, это наиболее яркий пример того, как газета, являющаяся органом крупной партийной организации, открыто высказывает свою заинтересованность в широкой циркуляции слухов о психическом заболевании человека, причем, что интересно, не ссылаясь ни на какие источники вообще, в том числе и медицинские.

Разумеется, я не состою (пока) на учете в психиатрическом диспансере, я никогда не страдал психическими расстройствами, но даже и в том случае, если бы это было так, любое распространение слухов в печати о психическом заболевании человека не должно считаться делом нормальным. Наверное, в данном случае у автора была какая-то важная цель. Какая? Всякое широкое оповещение о „психическом заболевании" какого-то человека может ухудшить его здоровье независимо от того, здоров он или болен. В любом случае газета не должна (по-моему) писать подобные вещи.

Надо ли вспоминать сейчас о других случаях, когда медицинский диагноз устанавливается с „помощью" прессы с заведомой целью опорочить? Я не уверен, что именно этого добивался автор, но тогда чего он добивался?

В. Альбрехт

2 августа 1977 г.*

* * *

Публикация в „Красном знамени" появилась в то время, когда в Харькове находился приехавший из Москвы следователь КГБ Скалов, который, как видно, „беседовал" с теми, с кем говорил и я. Харьковчане, упомянутые в статье, подали иски в суд, требуя опровержения клеветы. Правосудие промолчало, зато „отказники" уехали.

* * *

16 ноября. Солнце в этот день взошло, судя по календарю, в 8 часов 54 минуты. За час до этого ко мне вошел приятный молодой человек. Он передал повестку на допрос. Допрос начнется в 10 часов, а значит по дороге в Лефортово я успею повидать Сергея Владимировича, отдать ему письмо и даже поговорить.

* * *

— Кому нужно это нудное письмо? — сказала машинистка.

— Никому не нужно. Но Сергей Владимирович хочет уехать, а я хочу остаться.

— Ваше письмо поможет ему уехать?

— Во всяком случае оно не мешает мне остаться. Во всяком случае, пока.

* * *

---

*См. приложение IV.

ПЕРВЫЙ ДОПРОС ПО ДЕЛУ ЩАРАНСКОГО

(Краткая запись допроса, который фактически явился беседой об этических проблемах, допроса со старшим следователем Управления КГБ при Совете Министров Укр. ССР Литвиновским, членом следственной бригады по делу Щаранского. По ряду причин возможны небольшие и несущественные неточности).

Цели допроса я не знаю, зато знаю свою цель: надо объяснить нелепость обвинения, а затем бессмысленность расследования по нелепому обвинению.

Москва. Лефортовская тюрьма. 10 часов утра.

Следователь печатает на машинке вопрос, потом под мою диктовку ответ.

Вначале сведения о личности свидетеля: Альбрехт, Владимир Янович, уроженец г. Москвы, адрес..., место работы... Диктую:

„Точное название учреждения, где я работаю, не помню. Я устроился на работу всего лишь два дня назад. Кроме того, заданный вопрос дает повод сообщить следствию, что всякий раз я теряю работу при явной причастности к этому работников КГБ (далее идут факты)".

Литвиновскому текст не нравится. В протокол он его не вносит. Что ж, пусть пишет, как хочет.

Вопрос: Знаете ли Вы Анатолия Борисовича Щаранского? В положительном случае — где и когда познакомились и в каких отношениях состоите?

Ответ: Анатолия Щаранского знаю, по меньшей мере, с 1974 года. Когда и где мы познакомились, не помню. Отношений, к сожалению, нет никаких.

Как я и ожидал, следователя заинтересовали слова „к сожалению, нет никаких".

Вопрос: Уточните, где и когда Вы познакомились с Щаранским? Что означают ваши слова: „к сожалению, нет никаких"?

Ответ: Уточнить, где мы познакомились, не могу, так как не помню. Отношений со Щаранским у меня, *к сожалению,* нет, так как я сожалею, что не был в достаточной мере знаком с ним, и сожалею, что ничем не могу помочь при расследовании дела.

Вопрос: Что Вам известно о преступной деятельности Щаранского?

Ответ: Как Вы сообщили перед допросом, Щаранский обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 64 УК РСФСР, т. е. в „измене Родине". Но, судя по сообщениям газеты „Известия", Щаранский занимался шпионажем, что соответствует преступлению, предусмотренному ст. 65 УК РСФСР. Мне будет удобнее отвечать на вопросы, если Вы по возможности более детально разъясните суть обвинения.

Мой ответ следователь назвал „хорошим вопросом" и со всей серьезностью принялся обдумывать свой ответ. Через некоторое время в протоколе появилось:

Вопрос: Уголовное дело Щаранского находится в состоянии расследования, поэтому обвинение может быть изменено и дополнено. Ст. 64 и 65 УК РСФСР близки по своему составу. Устраивают ли вас мои объяснения?

(Думаю — устраивают или не устраивают?)

— Измена Родине, конечно, необычное преступление, я Вас понимаю, — добавляет следователь сочувственно.

— Почему необычное? Вполне обычное. Оно инкриминировалось многим руководителям правящей партии и правительства.

Теперь то, что я пишу в протоколе:

Ответ: Ваши объяснения меня не устраивают, и вот почему. Вы считаете, что ст. 64 и ст. 65 УК РСФСР близки по своему составу. Однако надо иметь в виду, что Щаранский являлся гражданином СССР только формально. Фактически он считает себя гражданином Израиля, поэтому предъявлять ему обвинение в измене Родине, по меньшей мере, нелепо. А в определенном смысле такое обвинение оскорбительно для тех, кто считает Советский Союз своей Родиной фактически, а не формально.

Вопрос: Откуда Вы знаете, что Щаранский не считает себя гражданином СССР?

Ответ: К сожалению, не могу указать все источники своей осведомленности. Но, прежде всего, это следует из опубликованного в газете „Известия" письма его бывшего друга Липавского, который, кстати сказать, вероятно, не зря просил сохранить себе советское гражданство. (Очевидно, Липавский в прошлом тоже не считал себя гражданином СССР.) Кроме того, я мог получить информацию из сообщений иностранного радио.

Вопрос: Приходилось ли Вам совместно с Щаранским и другими лицами обсуждать так называемый вопрос, связанный с еврейской проблемой? Принимали ли Вы участие в изготовлении и подписании каких-либо документов по этому вопросу? Информировали ли Вы об этом ли, о других ли вопросах представителей зарубежных стран, в том числе и находящихся в СССР?

(Разумеется, мне было не так важно ответить на этот вопрос, как сохранить его любопытный стиль: ведь следователь по существу спрашивает, говорил ли я вообще с иностранцами.)

Ответ: Полагая, что Ваш вопрос не выходит за рамки данного дела, отвечаю: я не помню случая, чтобы я когда-нибудь обсуждал в присутствии Щаранского или вместе с ним что-нибудь, относящееся непосредственно к „так называемому вопросу, касающемуся еврейской проблемы". Я не помню случая, чтобы он при мне или я совместно с ним передавал представителю иностранного государства какую-либо информацию, имеющую отношение к данному вопросу.

Вопрос: Возбуждали ли Вы ходатайство о лишении Вас гражданства?

(Я возмутился и то же самое спросил у Литвиновского. Сказал еще, что не понимаю, что дает ему право спрашивать подобные вещи.) В результате вопрос был снят, но Литвиновский уверял, что его вопрос относится к делу и он меня в следующий раз в этом убедит. Впрочем, неясно, захочет ли он в следующий раз меня допрашивать?*

---

* Вопрос, как позже выяснилось, был навеян неблагоприятным для меня показанием какого-то отказника их Харькова.

Вопрос: Оказывали ли Вы другим отказникам какую-либо помощь в вопросе, связанном с выездом в Израиль?

(При чем тут „другие отказники"? Моя помощь состоит только в моих ответах на их вопросы, которые не содержат ничего противозаконного.)

Ответ: Я протестую против подобных вопросов. Я никогда ничего нарушающего закон не делал!

Вопрос: Вам предъявляется для ознакомления машинописный экземпляр рукописи на 45 страницах под названием „Как быть свидетелем". Что Вы можете сообщить по поводу этого экземпляра?

Ответ: Во-первых, мне предъявлен не машинописный экземпляр, а экземпляр, отпечатанный на ротапринте. Во-вторых, я хотел бы знать, какое отношение имеет этот экземпляр к делу Щаранского?

Вопрос: На титульном листе указана Ваша фамилия. Что Вы можете в связи с этим пояснить?

— Не торопитесь, Владимир Янович! — добавляет следователь без протокола.

Ответ: Смотри ответ на предыдущий вопрос.

Вопрос: Являетесь ли Вы автором этого документа?

— Не спешите с ответом.

— Почему нельзя спешить?

Ответ: Как свидетель я обязан отвечать только по делу Щаранского. Этот вопрос адресован мне, по существу, как подозреваемому...*

...Во время допроса несколько раз звонил телефон. Из ответов Литвиновского я понял, что на допросе хочет присутствовать прокурор. Однако Литвиновский этого не хотел. Он спросил мое мнение. Я оставил решение этого вопроса на его усмотрение.

Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы, являясь автором рукописи „Как быть свидетелем", читали лекции,

---

* Далее в протоколе было написано: кроме того, я все-таки не понимаю, почему рукопись, напечатанную на ротапринте, Вы упорно называете машинописной.

Машинистка упустила эту фразу, чтобы автор не выглядел занудой.

проводили беседы на тему „Как вести себя на допросе", с лицами из различных городов Советского Союза – Киева, Риги и других. Что Вы можете сообщить по этому поводу?*

– Не торопитесь, Владимир Янович, – опять предупредил он.

Ответ: Вы просили не торопиться с ответом на каждый из трех вопросов. Я не тороплюсь. Но поскольку теперь я понимаю, что моя роль в данном деле – роль подозреваемого, а не свидетеля, я вынужден спросить: намерены ли Вы после допроса отобрать у меня мои записи для экспертизы на почерк? Кроме того, я должен сказать, что Вы ведете допрос не в соответствии с УПК.

(Далее я цитирую ст. 158 УПК и указываю следователю на конкретные нарушения.**)

– Ваши записи я не заберу, не беспокойтесь. Мне непонятно, почему Вы не хотите признавать, что Вы автор этого документа?

– А какой Вам резон спрашивать то, что Вам уже известно?

– Нам-то известно. Но почему Вы не говорите правду?

– Правда состоит в том, что этот вопрос к делу не относится.

– И все-таки на Вашем месте, Владимир Янович, я бы признал свое авторство, тем более, что в Вашей рукописи нет ничего противозаконного...

– Если Вы будете так говорить, то, боюсь, Вы окажетесь на моем месте...

– Вам еще раз разъясняется статья 158 УПК РСФСР.

(Далее следуют многословные разъяснения, заканчивающиеся вопросом, удовлетворен ли я разъяснениями.)

---

* Литвиновскому был известен и более подробный перечень: Винница, Вильнюс, Горький, Киев, Кишинев, Ленинград, Минск, Москва, Рига, Харьков. Однако он как бы стесняется показать большой объем полезной работы своего ведомства по поводу моей „бесполезной работы".

** В начале допроса следователь обязан спросить у свидетеля, что ему известно по делу, и только потом разрешено задавать вопросы.

Ответ: Разъяснения меня удовлетворяют — не удовлетворяют нарушения. Тем не менее, я верю Вашим словам, что в предъявленном мне документе не содержится ничего противозаконного...

(Из моего ответа следователь записал только первые три слова.)

— Зачем об этом писать?

— А почему нельзя об этом писать?

Вопрос: Вы преднамеренно уклоняетесь от ответов на вопросы. Поясните, почему Вы уклоняетесь от ответов на вопросы?

Ответ: Я не ответил по существу только на один вопрос об авторстве документа под названием „Как быть свидетелем" и о своих беседах с лицами из различных городов.

(Снова пытаюсь продиктовать пропущенную часть предыдущего ответа, начиная со слов „тем не менее, я верю Вашим словам..." и т. д.) Опять возникает спор.

— Вы поступаете нехорошо. Вы хотите внести в протокол мои слова, сказанные не для протокола, — говорит недовольный Литвиновский.

Объясняю, для чего, на мой взгляд, мы ведем протокол. И для чего мы ведем непротокольные беседы. Их мы ведем для того, чтобы лучше написать протокол. Каждый имеет равное право вносить в протокол то, что сказано другим. Все протесты, наряду с различными уточнениями, тоже вносятся в протокол.

— Но почему Вы непременно хотите сослаться на мои слова?

— Потому, что я Вам верю. Вы не запрещаете верить Вам?

— Владимир Янович, Вы просто боитесь сказать: „Эта рукопись моя".

— Не боюсь.

— Ну тогда скажите: „Эта рукопись моя".

— Пожалуйста: „Эта рукопись моя".

— Ну вот и хорошо. Теперь я запишу в протокол...

— Что Вы запишите? Что я не побоялся произнести слова, которые Вы просили произнести? Ведь это все равно не мои слова, а Ваши.

Вопрос: Намерены ли Вы ответить, являетесь ли Вы автором предъявленного документа?

Ответ: Да, но только в том случае, если Вы будете полностью вносить в протокол мои ответы. Обращаю Ваше внимание на то, что Вы уже в третий раз не записываете мой ответ полностью. Считаю нужным дополнить ответ на предыдущий вопрос. После слов „с лицами из различных городов" следует читать: „Тем не менее, я верю Вашим словам, что в предъявленном мне документе „Как быть свидетелем" нет ничего противозаконного". Я верю Вам, что в моих беседах об этических проблемах допроса тоже нет ничего противозаконного. Однако я не понимаю, почему же тогда Вы задаете эти вопросы? Ведь Вы должны расследовать только то, что связано с нарушением закона – в противном случае Вы, наверное, будете плодить нарушения закона, а не расследовать их.*

Опять заспорили.

– Кто уполномочил Вас вести беседы об этических проблемах?

– А кто должен был уполномочить? Если я скажу „ЦРУ", Вы что, поверите и обрадуетесь?

Вопрос: С какими конкретно лицами Вам приходилось беседовать об этических проблемах допроса?

(Если я начну перечислять всех следователей, которые меня допрашивали, он все равно не запишет этого в протокол.)

Ответ: Затрудняюсь ответить на вопрос, так как Вы все-таки не полностью записываете мои ответы. Считаю нужным дополнить в протоколе мой предыдущий ответ так: „Я вызван свидетелем по делу Щаранского. Вопрос, на котором Вы настаиваете, не имеет отношения к делу. Кроме того, я не уверен, что в создавшихся обстоятельствах Щаранский вообще может быть судим. Как известно, накануне ареста Щаранского в газете „Известия" появилась публикация, где прямо утверждалась вина Щаранского. Известно также, что в нашей стране газеты пользуются большим авторитетом,

---

* По просьбе следователя слово „противозаконного" в протоколе было заменено на слово „крамольного".

чем это имеет место в других странах. У нас редактор газеты принадлежит к руководству той партии, где обычный судья или следователь просто рядовой член. Поэтому есть большие сомнения в том, что на суде Щаранскому будет обеспечено беспристрастное расследование. К изложенному необходимо добавить, что, если не ошибаюсь, 29 октября 1977 г. в сообщении ТАСС для иностранных агентств имеется такое (цитирую по памяти) : „Щаранский будет наказан по всей строгости советского закона".

Обратите внимание: Щаранский будет не судим по всей справедливости советского закона, а будет определенно наказан, да еще по всей строгости.

Полагаю, после столь авторитетной информации, суда над Щаранским в нормальном смысле этого слова быть не может, т. е. Ваши труды пропадают даром.

Вопрос: Имеете ли Вы какие-нибудь дополнения к протоколу или уточнения?

Ответ: На этот вопрос я отвечу после прочтения протокола.

Теперь я читаю протокол — Литвиновский отдыхает. Ошибки в протоколе, конечно, есть, но все это мелочи. Пора заканчивать.

Вопрос: Как я понял, дополнений у Вас больше нет. Объясните тогда, с какими лицами Вы беседовали об этических проблемах допроса?*

(Наверное, надо вырвать у него из рук протокол и быстро записать: „С Вами". Но ведь это все равно, что ударить его по лицу.)

Ответ: Отказываюсь отвечать на вопрос.

Следователь протягивает мне руку, и мы прощаемся почти друзьями. На часах — восемь часов вечера.

* *

Дома меня уже ждут те, кто пришел на мою лекцию об этических проблемах допроса. Когда я договаривался о лекции, я еще не знал, что меня вызовут на допрос.

---

* Текст протокола по возможности приведен полностью.

Объясняю систему ПЛОД: П — протокол, Л — лично, О — отношение к делу, Д — допустимость.

Иначе говоря, Вы можете не отвечать на вопрос, если:

1) Вопрос не записан в *протокол* (сито П).

2) Если он адресован Вам *лично*, фактически не как свидетелю, а как обвиняемому или подозреваемому (по закону подозреваемый и обвиняемый не обязаны давать показаний) — (сито Л).

3) Если он не *относится* к делу или, наоборот, если это наводящий вопрос (сито О).

4) Если он не *допустим* с точки зрения этических норм (сито Д).

Эта система практически мертва, если человек не хочет или не может думать. В других случаях она как правило работает.*

* * *

— Скажите, а правда у Вас есть какие-то универсальные принципы поведения на допросе? — спросила меня в одном доме симпатичная девушка.

— Нет, не правда. Просто я прихожу и жду, когда следователь соврет.

— Почему обязательно соврет?

— А как же иначе? Во-первых, он всегда торопится. Во-вторых, его задача слишком сложна, так как я ни в чем не виноват. В-третьих, ему мешают свои. В-четвертых, высокий уровень его претензий не обеспечен надлежащим уровнем его профессиональной и общечеловеческой культуры. Наконец, в-пятых, всякий яркий показ противоречий между его узковедомственными принципами и принципами общечеловеческими он воспринимает как удар по себе лично. Помните, в песне Галича, заключенного вели на расстрел за пение „Интернационала", то есть за подрыв внутрилагерной морали с помощью морали общественной...

— Скажите, а имею ли я право сказать на допросе?..

— Если это правда, Вы обязаны это сказать.

---

*См. В. Альбрехт „Как быть свидетелем".

— Почему нельзя отказываться от показаний?

— Потому, что не найдется более подходящего места для утверждения справедливости.

* * *

— Вы написали, — сказала машинистка, — что вам задавала вопросы симпатичная девушка. Ведь это неправда, я знаю ее. Она абсолютно некрасива.

— Вы правы. Но так приятно было приукрасить.

* * *

— Говорят, ты сказал на допросе, что Щаранский и Липавский были друзьями.

— Да, сказал.

Это правда, которая многим не нравится. Я забыл, что делать с такой правдой. Кажется, вспомнил: есть две точки зрения.

Фотографию врага народа такого-то в учебнике нашей истории мы старательно заклеим бумагой. Подобная процедура означает, что о дружеских отношениях такого-то с товарищем Лениным или Сталиным говорить нельзя.

Другая точка зрения — европейская. Если близкий тебе человек скомпрометирован, то ты несешь за него ответственность. Кажется, в силу данного принципа ушел в отставку Вилли Брандт, провалилась администрация Никсона и т. д. О чем спор? Просто надо сделать четкий выбор между двумя уже существующими точками зрения.

Предателями вдруг не становятся. Мне кажется, что Липавский не был ничьим агентом. Он просто был плохим человеком. Какие-то его поступки определенно давали повод усомниться в том, что он честный человек. Но ведь в кругу друзей это прощалось. Мелкие грехи привели к большому: в конце концов Липавский предал своего друга.

А те, кто называют Липавского агентом КГБ, по-моему, немножко напоминают тех, кто громко называет Щаранского агентом ЦРУ. В обоих случаях я вижу желание скрыть собственную вину с помощью выдуманной или чрезмерно

раздутой чужой вины. Если наши друзья становятся вдруг нашими врагами, то виноваты в этом и мы.

— Ты имеешь в виду Липавского?

— Нет, я имею в виду китайцев, албанцев, нынешних египтян или немцев в прошлом. Несколько лет назад один предприимчивый „отказник" утверждал, что моральные императивы лучше всего объяснять с позиции выгоды. Что такое выгода, я всегда плохо понимал. Тогда я слепо стоял за правду, поскольку она одна мне нравилась. Надо сказать, правда всегда красива. Но позднее я понял, что предприимчивый „отказник" был достаточно разумным человеком: правда, кроме всего, выгодна. Тогда как неправда, то есть ложь, приводит вначале к лицемерию, а потом неминуемо к предательству...

— Значит, ты думаешь, что Липавский не агент КГБ?

— Если бы Липавский был агентом КГБ, то на суде его выгоднее было бы выставить не свидетелем, а обвиняемым. Поймите, если полагать дело сфабрикованным с самого начала, то почему бы не полагать его сфабрикованным в конце? Раскаявшийся „обвиняемый" убедительнее раскаявшегося „свидетеля". Такой суд можно показывать иностранным корреспондентам.

— Почему же они так не поступят?

— Не знаю. Возможно, потому, что не те времена. Суд в определенном смысле будет честным. Им он докажет вину Щаранского, а нам его же полную невиновность и безусловное благородство.

— Непонятно, почему ты говоришь „честным"? Не напоминает ли это „честный" суд над Дрейфусом?

— Напоминает, но не очень: у Дрейфуса не было близких друзей, которые его предали, а в деле Щаранского нет сфабрикованных документов, есть лишь сфабрикованные показания. Зато правозащитники, защищавшие Дрейфуса, если помните, не особенно торопились. Им не приходило в голову доказывать, что Дрейфус тоже правозащитник, они ограничились лишь утверждением, что он невиновен, и, как ни странно, справедливость восторжествовала. А потом, откуда Вы знаете, что суд, осудивший Дрейфуса, не оправдал бы Щаранского?

— Неужели Щаранского осудят?!

— Думаю, осудят.

— За что?

— Фактически за опрометчивые знакомства, формально за антисоветчину и шпионаж.

— Но ведь нельзя одновременно быть и шпионом, и антисоветчиком?

— Почему нельзя? Вы забыли, что перед совершением этих преступлений обвиняемый подал документы в ОВиР, понимая, что в Израиль его не пустят. То есть он заранее заставил власти взять его под подозрение... А с другой стороны, если подсудимый жил, как пишут газеты, не со своей женой и имел деньги, нигде не работая, то все противоречия в деле считаются устраненными.

— Почему?

— Когда судьи уверены, что подсудимый несимпатичный человек, им легко обосновать приговор.

— Так за что же осудят Щаранского?

— За то, что, будучи в глазах суда несомненным преступником, он откажется дать показания против своих товарищей.

— Ну, а нас тоже могут арестовать и судить?

— Да, за себя я боюсь. Я боюсь, что меня уволят с работы. Кроме того, я третий раз женат.

— Это Вы считаете главным?

— Да, это я считаю главным. Что же касается всего прочего, мы с Вами такие же шпионы, как и Щаранский.

* * *

Мне рассказали притчу о трех ошибках.

К одному умному профессору истории на работу пришли двое. Оба в штатском. Показания удостоверения (вместо „здрасте"), пожелали „поговорить". Профессор сразу понял, откуда пришли и зачем.

Он настолько остроумно отвечал на их неумные вопросы, что потом не мог удержаться и беспрестанно рассказывал об этом всем знакомым и незнакомым.

В своем рассказе он ощущал себя героем. И действитель-

но, он был героем, но совсем незаметно стал обманщиком. Потому что, „беседуя" с двумя в штатском, он обещал сохранить в тайне и факт беседы, и ее содержание. Короче говоря, он скрывал не то, что обещал скрыть. Он скрывал свое обещание и в итоге *обманывал* всех, в том и была его *первая ошибка.*

Профессор охотно ходил в гости, где смело, открыто рассуждал о политике, — например, о том, как Запад наверняка „продаст" советских диссидентов, точно так же как (Вы понимаете?) он „продал" в свое время Вьетнам или „продает" Тайвань.

Профессор должен был понять, что Запад способен продавать только то, чем он уже владеет, то есть то, что уже успел купить. И в том, по всей видимости, состояла его *вторая ошибка.*

Долго ли, коротко ли пришлось ждать — неизвестно. Но известно, что те двое в штатском в конце концов пришли снова (кстати, снова на работу и, между прочим, опять неожиданно). Профессор и на этот раз оказался на редкость догадливым: он знал наперед, о чем предстоит разговор. Только, к сожалению, как настоящий ученый он пожелал проверить свои гипотезы экспериментально.

Он получил то, что пожелал. Тут-то и поджидала его *третья ошибка,* какая — точно неизвестно. Говорят, последняя „беседа" была настолько интересной, что в гости профессор теперь не ходит, многие с ним не здороваются почему-то, а некоторые считают даже, что начало этой истории существенно связано с ее концом.

* * *

— Понимаю, — сказала машинистка, — профессор поступил плохо: обманул КГБ. Публика, кстати, не считает это за грех большой...

— В этом грех публики.

— Но неясно, из-за чего публика перестала здороваться с профессором?

— Разве неясно? Грехи профессора стали заметнее грехов публики.

— Понимаю, он совершил обман...

— Всего лишь! Но одним этого достаточно, чтобы не здороваться с профессором, другим не достаточно. Сравните: для одних достаточно того, что я написал, для других нет.

— Вы не написали, что произошло в конце концов.

— То есть вы уверены — дополнительные сведения внесут ясность. А ведь ясность зависит не от дополнительных сведений, а от вас. У всякого поступка имеется чье-то снисхождение. Поступок не ваш, а снисхождение ваше. Представьте, наш герой был вынужден кое-что сообщить о своем товарище. Но, во-первых, товарищу от того плохо не стало, а, во-вторых, они это и так уже знали.

— Непонятно, какая им польза узнавать то, что они знают?

— Польза есть. Во-первых, поссорить тех, кто сочтет поведение профессора вполне разумным, с теми, кто сочтет его абсолютно безнравственным.

— Еще есть „во-вторых" и т. д.?

— Да, есть. Чтобы в жизни лукаво не выбирать более простые и скользкие пути, иногда требуется небольшое мужество. Отсутствие мужества (даже когда его требуется самая малость) никому еще не удалось компенсировать ни избытком ума и образования, ни блестящей способностью ладить с людьми, ни умением ловко прикинуться дураком. Таким образом более щепетильные зачастую более правы... Вы, наверное, опять захотите доказательств?

— Не плохо бы.

— Тогда давайте напечатаем другую притчу.

Итак, другая притча.

Один человек стал исповедывать какие-то идеи из тех многих, что обычно не нравятся властям. У человека возникли неприятности. Через некоторое время человек делает попытки поправить свой быт: 1) Он женится фиктивно, чтобы иметь прописку в нужном городе. 2) Он устраивается сторожем, чтобы иметь больше свободного времени и не быть обвиненным в тунеядстве. 3) Он находит легкий и слегка сомнительный источник дохода, чтобы стать независимым материально. Понятно, свои не вполне красивые поступки он совершает ради торжества упомянутой выше высокой цели. Кто будет упрекать его? Его прежние друзья? Они творят

свои собственные некрасивые поступки ради достижения своих собственных мелких целей. Из того, конечно, что живут они как принято, вовсе не следует, что живут они нечестно. А главное — они втайне сочувствуют нашему герою. Будем к ним снисходительны. Кроме того, у нашего героя теперь новые друзья. Во имя высокого понимания объединяющей их высокой цели они разделили человеческое зло на две категории: зло, против которого надо бороться, оно же прямое и существенное, и зло, против которого нельзя сейчас бороться, оно же косвенное, вынужденное, неизбежное, несущественное. Разделив зло на две кучки, они разделили на две кучки людей: во-первых, те, кому следует доверять, т. е. „свои", во-вторых, те, кому нельзя доверять, т. е. „чужие". И вот ввиду, предположим, глубоко не осознанных критериев происходит ошибка: один „свой" оказался „чужим". Со временем, конечно, выяснится, что эта ошибка несущественна. Ну, а пока нашего героя несправедливо арестовывают, чтобы несправедливо судить. Нет! Во имя высокой цели он, конечно, готов пострадать. Он вовсе не обижен на судьбу. Но к своему величайшему удивлению в лице предполагаемого врага он встречает человека, который *впервые и со знанием дела* объясняет, что его поступки — прегрешения направлены фактически против упомянутой выше цели, а не во имя ее. Так, спрашивается, что же это за враг? Враг, как выясняется, знает многое, потому что ко многому имеет доступ. Он большой специалист в области именно тех идей, которые с таким трудом изучил наш герой. Он сочувствует нашему герою и, кажется, втайне исповедует его же идеи. Вначале наш герой назовет его „вовсе неглупым человеком", затем „все понимающим" и, наконец, просто „хорошим человеком". Ну, а хороших людей он привык слушаться. После выхода из тюрьмы у него будет еще и оправдание: он никому лично не повредил, а некоторых прямо спас. Ведь они-то, оказывается, все знали.

— Все понятно, — сказала машинистка, — хотя, думаю, не лишне будет указать, какие именно высокие идеи исповедовал наш герой.

— Совсем не лишне. Но существенно ли это для тех, кто ищет противоречия между словом и поступком нашего ге-

роя? Хотя есть разница: одно дело исповедовать религиозно-философское учение, другое дело размышлять, как бы поскорее уехать из Советского Союза...

* * *

Беседовал с отказником, которому надо идти на допрос.

— Если они опять спросят: „Кто дал?" — что сказать?

— В прошлый раз Вы, по-моему, уже сказали, кто дал?

— Да, сказал, но без протокола. А сейчас не хочу говорить.

— Хорошо, не хотите — не говорите, но объясните причину.

— А что объяснять? Они все равно знают, кто дал. Есть ли смысл говорить? Я ведь уже сказал.

— Про смысл я не знаю. Это Вы решите без меня. Я обязан Вам напомнить только о непременном Вашем долге говорить правду.

— То есть Вы советуете сказать, „кто дал"?

— Нет. В прошлый раз Вы ведь уже сказали, „кто дал". Но испугались. А теперь надо сказать ту правду, которой Вы испугались.

— Что же я должен сказать? Я должен все отрицать?

— Нет. Ничего не надо отрицать. Они ведь знают, „кто дал". И Вы сами об этом уже сказали. Но они не знают главной правды, а именно, что такой Ваш поступок в кругу Ваших друзей и знакомых считается подлостью.

* * *

— Давая советы, — сказала машинистка, — Вы не замечаете, как мне кажется, того, кому советуете... Вы не обижайтесь, пожалуйста. Я не обязательно права.

— Не мне судить. Но все-таки учтите, пожалуйста, иногда люди спрашивают, как вести себя на допросе. Затем идут на допрос и рассказывают там о том, что я им советовал. Хорошо, если они говорят правду. А если врут?

* * *

— А как же Вы объясните нежелание дать подписку о неразглашении? — спрашивает машинистка, которая уже печатает и этот текст.

— Я скажу следователю, что объяснять причину отказа преждевременно. Она относится не к делу, где я свидетель, а к еще невозбужденному делу, где я обвиняемый — обвиняемый в разглашении данных предварительного следствия.

— Понимаю, здесь как раз два сита: „Л" и „О".

— А если Вы не забыли потребовать внесения этого Вашего диалога со следователем в протокол, то будем считать, что Вы не забыли и про сито „П".

— Ну, а о последнем, четвертом сите „Д", Вы скажете?

— Сито „Д" или принцип „Д" означает, что Вы достаточно хорошо понимаете смысл происходящего, то есть Вы понимаете, что отказ дать подписку сам по себе не утверждает право разглашать данные предварительного следствия. Хотя, с другой стороны, если Вы считаете, что возбужденное против Вашего товарища дело является беззаконным, то Вы обязаны объяснить это следователю. Ваш гражданский долг в этом случае заключается в том, чтобы протестовать против беззакония и, следовательно, разглашать данные предварительного следствия. Одним словом, Ваш разум всегда должен соотноситься с Вашей совестью.

— В своих ответах следователю Вы, как видно, чаще других принципов используете принцип „Д"...

— Да, Вы правы. Это происходит от того, что свои ответы я готовлю заранее, да еще охотно пользуюсь чужим опытом. Хотя суть моей подготовки только в том, чтобы повысить значимость принципа „Д" в ущерб остальным трем принципам — „П", „Л", „О".

* * *

Читаю заявление, из которого вижу, что Сергей Владимирович по-прежнему не вполне меня понимает.

Председателю Советской группы
„Международной Амнистии".

Уважаемый Георгий Николаевич!

Прошу Вас принять меня в члены Советской группы „Международной Амнистии".

Одновременно поясняю — в связи с теми сомнениями, которые выражал в устных разговорах со мной и даже в специ-

ально врученном мне письме исполняющий обязанности секретаря группы В. Я. Альбрехт, — что выраженное мною в октябре с. г. желание участвовать в работе „Международной Амнистии" и поданное мною в прошлом году ходатайство об эмиграции из СССР (в чем, как Вы знаете, мне было отказано на неопределенный срок) не имеет никакой взаимосвязи, тем более прямой.

Я всегда после того, как узнал о существовании „Эмнисти интернейшнал", т. е. на протяжении многих лет, был самого высокого мнения о благородном характере и важном практическом значении деятельности этой международной организации, главная задача которой — забота о судьбе узников совести во всем мире и, в частности, о политзаключенных, брошенных в тюрьму не за проповедь насилия и т. п., а за их искренние убеждения, за взгляды.

Мой собственный горький опыт давно убедил меня в том, что такая гуманная организация, как „Международная Амнистия", является выразителем СОВЕСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, сострадания пребывающих на свободе людей к своим несправедливо заточенным братьям и сестрам, — и именно ПОЭТОМУ я горячо желаю оказывать ей помощь!

Членство в этой гуманной организации я считал бы для себя поистине высокой честью, ибо:

Колючей проволокой обвитая свеча —
Эмблема памяти об узниках за взгляды...
Студена камера, надежда ж горяча —
И честным людям это помнить надо!

(Подпись, адрес, телефон.)

* * *

— Говорят, Вы не ладите с друзьями Щаранского.

— Я бы выразился сильнее, если бы их неудачи и беды не были бы в равной мере и моими.

— Что же Вам в них не нравится?

— К сожалению, все по мелочам. Например, я считаю, что даже если власти некомпетентны, то судить об этом следует все равно компетентно. Я считаю, что оптимизм и скрыт-

ность не заменяют обычного разума, зато они могут иногда утруждать мораль. Я считаю, что надо научиться помогать самому себе прежде, чем обращаться за помощью к другим, тем более к мировой общественности. Наконец, я против любого авантюризма, и крупного и мелкого. Эти люди слишком верили в полезность контактов с КГБ. К чему эта полезность?

Разумеется, их вина — мелочь по сравнению с их трагедией. В конце концов, возмущенная общественность способна освободить и Щаранского, и некоторых других. Но даже тогда, в потоке счастливых разговоров о торжестве справедливости и добра, никто ни словом не вспомнит о правосудии. Конечно, хорошо, когда побеждает *справедливость*, плохо только, когда отвыкают от *правосудия*. Не потому ли через некоторое время приходится все начинать сначала? Про Щаранского забудут, как забыли про Чернобыльского и Асса,* как забыли „ошибки" культа Сталина и „волюнтаризм Хрущева". Правозащитники все время пытаются добиться освобождения без суда или вопреки суду, не считая нужным или, наверное, не имея возможности добиться нормальной процедуры суда. А ведь наша главная цель — правосудие. Если мы о ней забудем, наши жертвы не только будут напрасны, — их окажется гораздо больше.

— Вы думаете, что, несмотря на всеобщее возмущение, суд над Щаранским состоится?

— Не знаю, как надо понимать слово „суд"? Как закрытое зрелище для избранных, где на основании поведения в настоящем утверждается вина в прошлом? Между прочим, поскольку всякому подсудимому обеспечено право перейти путем „покаяния" в ранг свидетеля, некоторые называют такой закрытый суд гуманным! Вы верите, что увеличение числа защитников Щаранского повлияет в конечном счете на правительство и никакого суда не будет?

— Почему бы нет?

---

* В 1976 г. Чернобыльский и Асс были арестованы по обвинению в хулиганстве. В результате многочисленных протестов их освободили без суда, но как ни странно, обвинение не было снято.

— А почему бы да? Не считаете ли Вы, что увеличение числа защитников Щаранского укрепит упрямство властей и судей, изощрит аргументацию прокуратуры и подогреет „революционный романтизм" ответственных работников нашего славного следственного аппарата?..

— Я не знаю, будет ли суд. Впрочем, это зависит от понимания слова „суд", а вот вероятность того, что Щаранский просидит в тюрьме более десяти лет, очень велика.

— А способно ли дело Щаранского кого-нибудь скомпрометировать?

— Не знаю. Думаю, даже если бы Щаранский стал сотрудничать с обвинением, он не сумел бы скомпрометировать самого себя, хотя, по-видимому, главная цель предстоящего „суда" не судить, а именно компрометировать.

— Что же, по-Вашему, получится в результате?

— Не знаю. Я пессимист. И люблю, когда мои предсказания не сбываются. Но, по правде говоря, я в отчаянии...

— Как бы Вы поступили на месте Щаранского?

— Какая разница, как бы поступил я?! Ну, допустим, я бы сознался?

— В чем?

— В намерении подорвать и ослабить существующий в СССР строй.

— Почему?

— Потому, что, если Щаранский честный человек, никто все равно не поверит, что он не подрывал тот самый строй, при котором человек способен сидеть столько времени в тюрьме без всякого суда. Разумеется, Щаранский действовал умышленно. Если он понимал, что после ареста его будут судить, то он не мог не понимать, что многочисленные аресты по поводу его суда будут подрывать существующий строй. И, боюсь, я тоже подрываю этот строй...

* * *

— Значит, любого из нас могут арестовать? — спрашивает машинистка.

— Вполне, — шучу я. — Но для этого кто-нибудь из нас должен совершить преступление.

— Вы опять шутите? — догадалась машинистка.

— Не совсем, — говорю я. — Потому, что посадят не того, кто совершит преступление, а того, на кого даст показания тот, кто совершит преступление.

* * *

Необходимо помочь одному „инакомыслящему" в устройстве на работу. Ему грозит обвинение в тунеядстве. Договорились по телефону о встрече. „Инакомыслящий" пришел с опозданием. Потом он ругался, что я зря оторвал его от важных дел: „Зачем лишний раз встречаться и привлекать внимание? Все можно выяснить по телефону!" Правильно. Но откуда знать, что „инакомыслящий" — настолько здравомыслящий?

На другой день „инакомыслящий" опять опоздал и опять ругался. У него нет времени оформиться на работу, а срок предупреждения истекает. Я посоветовал ему написать в прокуратуру: „Предупрежденный о необходимости устроиться на работу в течение такого-то времени, сообщаю, что нашел себе такую-то работу, однако по таким-то причинам не в состоянии оформиться. Прошу продлить мне срок, в течение которого я обязан устроиться на работу".

Инакомыслящий воспринимает мой совет как безответственную глупость. Написав подобное в прокуратуру, он, по его словам, лишится работы, которую он и так нашел с трудом. Он обругал меня и ушел.

А убеждать его, наверно, надо было иначе: „Прокурор — это человек. И надо попросить у человека человечности". Но я сделал ошибку, объяснив ему, что он нашел не работу, а ерунду, которую все равно потеряет — либо сразу, либо, что еще хуже, не сразу. Этой ерундой в любом случае следует жертвовать как пешкой. Зато, во-первых, будет причина утверждать, что тебе кто-то мешает в трудоустройстве, и, во-вторых, будет выиграно время.

Я зачем-то пробую написать ему письмо: „Юра! Когда-то ты меня уже обидел. Из-за чего, не помню. Собственно говоря, какая разница, если привыкнуть к этому все равно нельзя? Теперь ты меня уже оскорбил. Но, в конце концов, я по-

нял, что быть смелым человеком не так сложно: если приходится жить среди таких милых людей как ты, то ведь даже и тюрьма не страшна".

* * *

В мое отсутствие из Малаховки приезжали две неизвестные дамы. Сказали, что, якобы, я звонил им с намерением купить дачу. Похожая шутка была и вчера: приезжала мать с дочерью снимать мою квартиру. Приезжали по объявлению, которое кто-то заботливо развесил в городе. Одновременно от моего имени были разосланы нескольким лицам открытки со странным, но, к счастью, вполне приличным текстом. Я, конечно, нисколько не обижаюсь. Согласитесь, должен ли я обижаться на тех, кто в такой „трудный и ответственный момент" находят время позабавиться такими безобидными шутками? (И объявления, и открытки напечатаны, кажется, на одной и той же пишущей машинке.)

* * *

...Вечером из Харькова неожиданно приехал отказник Гриша. Приехал специально, чтобы спросить: „Сидеть ли сейчас „тихо" или „шуметь".

Сказал ему, что „шуметь", наверное, никогда не нужно.

* * *

— Мне непонятна фраза, — сказала машинистка, — которую я недавно печатала. Вы пишите, что Щаранский не смог бы себя скомпрометировать даже в том случае, если бы он стал сотрудничать с обвинением. По-моему, как раз наоборот, в этом случае он наверняка бы скомпрометировал себя.

— Вы ее действительно не поняли. Щаранский — обычный человек. Он хотел просто уехать в Израиль и оказался в результате в тюрьме в „качестве" поборника прав и в „качестве" шпиона. Но фактически это может случиться с каждым. Щаранский — „всего лишь обычный человек", который отстаивал *свое* право на выезд в Израиль. Требовать или ждать

от него подвига, по-моему, безрассудно и некрасиво. Подвиг каждый вправе ожидать только от себя. Таким образом, если бы Щаранский струсил, он непременно был бы прощен. Однако его большая заслуга и состоит именно в том, что он не струсил. После ареста он вел себя в высшей степени благородно. Этим он доказал, что обычный человек способен все вынести и остаться до конца честным и благородным. Вот тогда, фактически, он стал борцом за права других. Кстати, как показывает опыт других государств, политические обвинения часто выглядят на суде до такой степени нелепо, что допустить в зал суда не подобранную специально публику невозможно даже тогда, когда обвиняемый сотрудничает с обвинением. Я думаю, что раскаявшиеся обвиняемые уже оказали правосудию ту самую услугу, которая называется медвежьей.

* * *

— Вы иногда пишете слово „отказник" в кавычках, а иногда без них.

— Да. Слово „отказник" теперь пишут без кавычек. Все вроде бы должны знать, что оно означает. Но на практике все же постоянно возникает путаница. Одни называют отказниками тех, кто отказывается думать и полагает, что пришла пора действовать. Другие — тех, кто отказывается действовать как следует не подумавши.

Мне все равно — я готов признать отказниками и тех, и других. Однако, если человеку отказано в выезде в страну, в которую он и не собирался ехать, его нельзя считать отказником.

— А не нужно ли ставить кавычки перед словом „правозащитник"? Или с ними все ясно?

— Все — не все, но все-таки яснее, чем с отказниками. Представьте: некогда жил человек, который пропагандировал право и выступал против несправедливости. Его, в конце концов, посадили в тюрьму. В его защиту выступил другой человек. Его тоже посадили в тюрьму... и т. д. Поскольку история на этом не кончилась, а продолжается и по сей день, появилась надобность как-нибудь называть тех людей,

которых сажают за то, что они выступают в защиту людей, которых посадили за то, что они выступали в защиту людей, которых... Их назвали „Правозащитниками". И все сразу упростилось. Теперь мы знаем, что правозащитник это тот, кто выступает в защиту других правозащитников.

* * *

Одного „правозащитника" несправедливо обругали в газете.

— Вы намерены жаловаться в суд? —спросил у него неискушенный и несведущий человек.

— Нет. Зачем? Я отвергаю их суд. Я считаю его лицемерным.

— Вы в этом уверены?

— Да.

— Вы сошлетесь на примеры?

— Нет.

— То есть Вы бездоказательно судите о них и хотите, чтобы они не судили бездоказательно о Вас. Неужели не ясно: называя их суд лицемерным, Вы исходите из того, что требуется доказать.

— Кому требуется? Мне не требуется.

— А тем, кто стремится доказывать, Вы сочувствуете?

— Сочувствую.

— Вы не против с ними сотрудничать?

— Безусловно, не против.

— Но ведь тогда Вас нельзя будет отличить от тех, кому Вы сочувствуете. Вы этого хотите?

— Я хочу одного: уехать!

— Вы уважаете законы страны?

— Да.

— А если за неуважение законов, то есть за то, что Вы давно нигде не работаете или за то, что Вы считаете их суд лицемерным, они будут судить Вас, то защищать себя Вы будете сами или наймете хорошего адвоката?

— Конечно, постараюсь нанять хорошего адвоката.

— То есть, в таком случае, Вы намерены спорить с лицемерным правосудием?

— А как же мне быть?

— Это зависит от того, что Вы умеете, или от того, что Вы все-таки хотите.

— Не понимаю, что может зависеть от меня, если я хочу только уехать.

— От Вас зависит Ваша позиция. Я предлагаю не бороться с лицемерием чужими руками.

— Мне кажется, здесь все бесполезно. Другое дело там.

— Насколько я понимаю, в Израиль Вас не пускают, но фактически Вы считаете себя гражданином Израиля?

— Безусловно.

— То есть в этой стране Вы фактически являетесь иностранцем?

— Да.

— Скажите, а до того, как Вы стали иностранцем, Вас интересовали проблемы защиты гражданских прав в этой стране?

— Наш разговор прервал звонок в дверь: милиционер принес повестку на новый допрос, и несведущий и неискушенный человек отправился на Малую Лубянку, дом 12-а.

* * *

Встретил Абрамовича. Абрамович давно нашел работу и интересуется, нет ли наказания (для него лично) за несообщение в милицию места работы.

* * *

Малая Лубянка, дом 12-а. Молодой энергичный следователь КГБ Копаев забрасывает удочку (как в пьесе) :

— Вы, конечно, не будете отрицать, что Вы секретарь группы „Международная Амнистия"?

— Конечно, буду, — отвечаю я.

— Почему?

— Потому что я не секретарь, а исполняющий обязанности секретаря.

— Ну, ладно...

— Скажите, а по какому делу допрос?

— А разве это важно?

— Безусловно. Все-таки легче отвечать, если знаешь, по поводу чего спрашивают... Это допрос по делу Орлова?

— В том числе и по делу Орлова... Но прежде я должен задать Вам несколько вопросов по поручению КГБ Грузии... Вы знаете Звиада Гамсахурдия?

— Знаю, но недостаточно хорошо.

Последующие вопросы были настолько простыми, что почти за три часа я успел объяснить все: Звиада Гамсахурдия видел, кажется, один или два раза, обстоятельства встречи не помню. Его друзей Мираба Костава и Виктора Рцхеладзе я, по-видимому, никогда не видел. Таким образом, при мне никто из троих не мог, вероятно, высказывать никаких „антисоветских утверждений". По-грузински читать не умею, следовательно, не читал самиздатских журналов „Вестник Грузии" и „Золотое Руно", которые, как пояснил Копаев, распространялись на грузинском языке.

Я пытался выяснить, что означает термин „антисоветское утверждение". В этом месте наш разговор стал, как мне кажется, небезынтересным.

— Допустим, — спросил я, — человек живет, не нарушая законов, признает существующую в стране власть, признает руководящую роль партии и т. д., но считает, что наш престарелый премьер-министр слишком стар, чтобы выполнять свои функции... Будет ли такое утверждение „антисоветским"?

— Нет, не будет. Тем более, если Вы не называете фамилии.

— А если назвать фамилию? Например: Леонид Ильич и т. д.

— Ну, это было бы бестактно.

— Не спорю, конечно, бестактно, но вопрос другой: будет ли такое утверждение „антисоветским"?

— Нет, не будет.

— Ну, тогда, возможно, Вы сами приведете какой-нибудь другой пример?

Копаев задумывается и объясняет: любое сомнение в законности Советской Власти есть антисоветское утверждение.

Я говорю: „Спасибо", — и не торопясь, мы движемся дальше.

Между тем Копаев недоволен. Ему нужно спешить. Дела Орлова мы еще не касались. Я спросил: „Не кажется ли Вам, что пребывание Орлова в тюрьме свыше 9 месяцев без суда есть более серьезное преступление, чем то, которое Орлову приписывается?" „Нет, не кажется", — коротко ответил следователь.

Ну вот и все. Времени у следователя уже нет. Завтра продолжим. Ему интересно, буду ли я возражать, если в протоколе он напишет, что перенос допроса на следующий день произошел по моей просьбе? Я ответил: „Конечно, буду возражать, я же дал подписку об ответственности за ложные показания".

Эта хитрая мелочь могла бы стать для меня неплохим предостережением, но не стала.

* * *

Беседа с соседом справа в одном доме за столом.

— Подумать только, — говорит сосед, — американцы вмешиваются в наши внутренние дела!

— Вы о чем? — спрашиваю я. — Если их критику считать вмешательством в наши дела, то, боюсь, не будут ли они нашу критику считать вмешательством в их дела?

— Нет, они не просто критикуют, они вмешиваются! Они, подумайте, требуют освобождения Щаранского.

— Ну и что? У них такой стиль. Разве можно осуждать кого-то за непрошеный совет, пусть даже он кажется нам неверным?

* * *

Некая Б. передала через некую Т. незнакомому ей Г., что я о нем плохо думаю. Спрашивается: как надо реагировать?

1) Не реагировать никак и, главное, никого не бояться.

2) Передать В. через незнакомого ей Г., что в нашей свободной стране существует, слава Богу, свобода мысли, следовательно, разрешено думать плохо не только о Г., или обо мне, допустим, но даже и о самой Б.

3) Стоит вспомнить, что такое донос и почему мы не любим доносчиков.

4) Стоит подумать: почему те из нас, кто занят чем-то сомнительным (например, как Б. собирают сведения, компрометирующие других), одновременно тяготеют к вполне благородным занятиям (например, как Б., оказывают помощь: раздают деньги нуждающимся, — не свои деньги).

Конечно, почти никто не видит, как одна такая деятельность некрасиво и опасно проецируется на другую. И как знать: не лежит ли тут ключ к пониманию чего-то более серьезного?

* * *

В связи с заявлением Сергея Владимировича от 21 ноября я написал ему записку.

Сергей Владимирович!

За исключением стихов, мне в общем понравилось Ваше заявление, датированное 21 ноября, но, с моей точки зрения, оно нуждается в четком дополнении. В конце, думаю, необходимо дописать, что Вы считаете себя обязанным уважать законы Советского Союза и действовать в соответствии с этими законами, то есть в соответствии со ст. 2 статута группы.

Объясняю причину еще раз. Как я понял, Вы добиваетесь выезда из СССР по политическим соображениям. Таким образом, может возникнуть неверное впечатление, что по тем же соображениям Вы отвергаете вовсе законы СССР и не считаете себя обязанным их придерживаться. Полагаю, что это не так, и полагаю, что в заявлении Вам следует приписать, что это не так.

С уважением В. Альбрехт

* * *

По иностранному радио ширится кампания в защиту политических заключенных.

Превознося до небес их заслуги, мы, как думают некоторые, добьемся освобождения...

Но я думаю — вряд ли. Ложь — та же тюрьма. Впрочем, мне и самому неловко, что такие мысли приходят в голову.

Но, погодите, что же получается. Если вдруг нас с вами засадить в тюрьму, то оттуда есть вроде бы только два выхода — либо принять ложь наших врагов, либо ложь наших друзей.*

Со случайным американцем побеседовал о „полезности". Переводил, кстати, Сергей Владимирович. Спасибо ему. Всем троим было интересно: американца интересовало, полезна ли советским диссидентам политика президента Картера в области Прав Человека? Сергея Владимировича интересовал мой ответ. А меня интересовало, что они оба думают по поводу того, что я отвечу. Я ответил: „Если Картер проводит такую политику специально для того, чтобы принести пользу советским диссидентам, то он, бесспорно, принесет им вред. Но если Картер иначе просто не может, то есть поддержка людей, защищающих свои несомненные права, есть естественное следствие его общей моральной установки, а про нашу пользу он думает лишь иногда (допустим, в свободное от работы время), то, наверно, его политика будет полезна советским диссидентам. И, наверное, в первую очередь тем, кто понимает, о чем мы сейчас говорим.

Если поддержка советских диссидентов там, в Америке, увеличится, то здесь, в Советском Союзе, она, боюсь, совсем исчезнет. Диссиденты не должны быть в глазах собственного народа ни иностранцами, ни предателями. Хотя поддержка Запада, безусловно, помогла даже не очень смелым людям писоединиться к смелым и бескорыстным. Нетрудно предсказать, что произойдет, если поддержка вдруг исчезнет", — говорил я своему собеседнику. Боясь оказаться непонятным, я не рискнул сказать, что демократическое движение выручать не обязательно, что, в определенном смысле, оно нуждается в поражениях, поскольку это не политическое движение, а нравственное. Его успех способен привлечь в него большое число неискушенных, что, безусловно, будет способствовать его дальнейшему ослаблению и дискредитации.

---

* Мысль своевременная. Возможно сейчас так же, как мы с Вами, эту самую рукопись листает следователь Московской прокуратуры Пономарев, который получил ее на обыске в августе и затем на другом обыске в сентябре 1980 года.

Зато его неудачи позволят людям заглянуть внутрь этого движения, с тем, чтобы увидеть самих себя как бы со стороны.

* * *

— Да что же это Вы такое пишите?! — возмутилась машинистка. — Некоторые сочтут Вас провокатором. Всем известно, что власти боятся только реакции с Запада. А Вы, получается, против того, чтобы отказники апеллировали к Западу, Вы против их контактов с Западом.

— Ничего подобного. Я лишь против нелепых и вредных разговоров, что власти боятся только Запада. Я за культурное общение со всеми культурными людьми. Какая разница, где они живут, — на Западе или на Востоке? Я против распространенной у нас дискриминации по принципу места жительства. Кстати, я даже женат на „лимитчице".

ВТОРОЙ ДОПРОС ПО ДЕЛУ ЩАРАНСКОГО

или о чем можно говорить с 15.40 до 19.40 в Лефортове.

...Подробно рассказать о том, чего не было, все равно невозможно. Допроса фактически не было. Между прочим, у меня имелась причина просить о переносе допроса. Кроме того, я забыл взять с собой паспорт. Увы!

— Завтра нельзя. А пройти Вы можете и без паспорта... Здесь Вас все знают, — ответил старший следователь Скалов, встретивший меня в проходной тюрьмы.

В маленькой комнатке № 27, куда меня привел Скалов, я увидел Илюхина Михаила Ивановича, прокурора из Союзной прокуратуры. В мундире с золотыми пуговицами, он казался мне добродушным и спокойным. На каждой пуговице герб Советского Союза. Пока Скалов писал титульный лист протокола, мы сидели молча. Итак, я опять свидетель по делу Щаранского. На столе, вся в закладках, брошюра „Как быть свидетелем", об авторстве которой меня, конечно,

спросят, и еще много каких-то фотокопий. Бланк протокола с двумя голубыми полосками сверху. Почему?.. Видно, сегодня допрос будет нелегким. Волноваться нельзя, а для этого надо о чем-нибудь подумать... Например, если бы на мундире прокурора было 15 пуговиц, по числу республик, то гербы были бы разные?

— У меня просьба, — обратился я к следователю.

— Подождите.

— Не могу.

— Почему?

— Потому, что я должен высказать свою просьбу до начала допроса. Разрешите прочитать заявление.

— Читайте.

— Читаю.

Ст. следователю КГБ Скалову,
г. Москва, тюрьма Лефортово,
к. № 27, от свидетеля по делу
Щаранского Альбрехта В. Я.

Уважаемый тов. Скалов!

Из протокола от 16 ноября видно, каких трудов стоит убедить следователя в необходимости правильно вносить в протокол мои показания.

Допросы 21 и 22 ноября на Малой Лубянке 12-а убедили меня, что иногда этого добиться абсолютно невозможно. 22 ноября следователь КГБ Копаев записал в протоколе, например, что мне представляется возможность написать показания собственноручно. Но на деле я сумел написать только слово „не" перед его „предоставляется". Потом мое „не" Копаев стер бритвой, спрятал протокол в сейф, и мы расстались. Таким образом, во избежание недоразумений или, лучше сказать, безобразия, я прошу на сегодняшнем допросе применить звукозапись.

Подпись. Дата.

— Прошу мое заявление занести в протокол.

— Погодите, — говорит Скалов.

— Погожу.

Прокурор задумчиво улыбается.

Пререкаться со следователем я, конечно, не намерен, хотя, с другой стороны, сидеть и помалкивать нет, наверное, смысла.

Скалов считает, что я здесь командую. Объясняю ему, что это не так, хотя я мог бы немножко и покомандовать. Я налогоплательщик. И вправе требовать, чтобы „товарищ" Скалов добросовестно и в соответствии с законом выполнял свои обязанности. Ведь это ведомство, как и многие другие, существует на деньги, которые я плачу в виде налогов. (Хотя, возможно, денег, которые я им плачу, не хватает.)

— Мы не Ваши органы, мы органы государственной безопасности... — отвечает следователь.

Теперь, получается, он обидел органы. Мои органы, — но я не рискую этого сказать. Отвечаю: „Вы создаете повод для шуток. Говорите, если нетрудно, более обдуманно".

Скалов заводит речь о моих „лекциях" для „товарищей отказников".

Отвечаю: „Мои „так называемые лекции" об этических проблемах допроса Вас интересовать не должны. Какая разница, с кем я беседовал, если в моих беседах нет ничего, как сказал следователь Литвиновский, крамольного. Одно непонятно, почему Вы называете отказников „товарищами отказниками"? Отъезд в Израиль считается, кажется, антиобщественным поступком? Тогда обращение „товарищ отказник" в Ваших устах звучит довольно странно. Вы, очевидно, оговорились?.."

Скалов сердится: „Здесь Вам не цирк, и я Вам не клоун".

„Прошу не обижать себя, — отвечаю, — и, кроме того, меня".

В протоколе тем временем возникают ответ следователя на мое ходатайство и вопрос № 1.

Итак, вопрос: 16 ноября на допросе Вы по существу отказались отвечать на поставленные вопросы; намерены ли Вы сегодня поступать так же?

— Нет, я намерен поступать иначе. А именно: Вы написали в протоколе, что звукозапись может быть произведена после дачи показания. Но ведь закон утверждает как раз другое:

после допроса производить звукозапись нельзя. Посмотрите в УПК.

Прошу занести в протокол мой ответ: я отказываюсь от показаний, так как мне отказано в возможности записывать их без искажения. Объяснения следователя не соответствуют закону. После допроса, согласно ст. 141-1 УПК РСФСР, звукозапись *воспроизводится,* а не *производится.*

Прокурор смеется в открытую.

Скалову мой ответ приходится не по вкусу, и в протокол он его не заносит.

А вот новая нелепость.

Желая разрядить атмосферу, Скалов подпустил в разговор матерщину. Теперь возникла еще одна причина отказаться от показаний. Прокурор говорит, что я зря придираюсь: „В произведениях Солженицына тоже очень много неприличных выражений. Например, в „Одном дне Ивана Денисовича..."

— Нет, Солженицын мне не указ.

Скалов опять шипит что-то. Сейчас узнаем.

Ага, подписка о неразглашении!

— Что нельзя разглашать, позвольте спросить? Факт вызова на допрос в КГБ?

— Да, и факт вызова...

— Почему? Я его уже разгласил, например, на работе. Что еще? То, что Вы ругались в присутствии прокурора? Вы не задали ни одного вопроса, Вы не предъявили никаких документов!..

— А я сейчас предъявлю...

— Зачем? Чтобы взять подписку о неразглашении? Я же отказался от показаний.

— А вдруг передумаете?

Далее — почти как в оперетте. В протоколе действительно возникает новый вопрос следователя: „Вам предъявлен домент" и т. п.

Загораживаю лицо уголовно-процессуальным кодексом и демонстративно затыкаю уши руками, чтобы не слышать его вопроса и не видеть злосчастный документ. Теперь смеемся вдвоем с прокурором.

— Пишите ответ (диктую следователю) : „Я не желаю ви-

деть предъявленный мне Вами документ, поскольку Вы задаете вопрос только для того, чтобы взять подписку о неразглашении. Вы поступаете некрасиво. Отказываюсь подписывать протокол. Прошу предоставить мне возможность написать о причине отказа от подписи протокола в соответствии со ст. 140 УПК.

— Изложите причину устно.

— Вы ругаетесь и не заносите в протокол полностью мои ответы, тем самым искажая их. Это ли не причина?

* * *

— Ваша позиция, — сказал мне какой-то человек, — зачастую основана на том, что следователь — враг, но разве не бывает так, что он сочувствует Вам?

— Наверно, бывает. А что толку? Хотите пример?

В городе О проживали три диссидента. Одного из них вызывает следователь, ну, скажем, Агапов. И этот Агапов говорит: „Я хочу Вас предупредить: завтра у вашего товарища будет обыск". И действительно, назавтра происходит обыск. Но обыскиваемый накануне все существенное сжег.

Через некоторое время, в результате новой информации от Агапова, точно так же поступили остальные двое. Вы догадались, чем дело кончилось?

— Нет.

— Эти трое перестали разговаривать друг с другом.

— Агапов действовал по заданию органов КГБ?

— Этого никто не знает. Он работал в органах КГБ, а выдавал себя за их предателя. Не все ли равно, чей он был предатель, в действительности? Ведь быть предателем плохо.

— Скажите, а если бы этот Агапов предложил подобные услуги Вам, Вы бы приняли их?

— Ну что Вы! Для начала я бы, наверное, попросил бы его достать текст той присяги, которую он давал, поступая на службу в органы.

* * *

— А почему нельзя отказаться от показаний? — спрашивает машинистка. — Ведь за отказ от показаний кара не так уж сурова, как будто всего только штраф?..

— Я, наверное, не найду устраивающих Вас возражений. На подобные вопросы, как Вы заметили, я отвечаю неубедительно.

— И все-таки возражения у Вас есть?

— Есть. Несуровая кара может, в конце концов, стать суровой. Кроме того, отказ от показаний практически дает возможность предъявить обвинения свидетелю. Наконец, для обвиняемого в тюрьме Ваши ответы в протоколе — это доброе слово от всех помнящих о нем друзьях. То есть у Вас имеется способ морально поддержать товарища накануне суда.

В качестве примера я привожу показания Вольвовского по делу Щаранского: „Я думаю, что, подписывая 201 ст. об окончании следствия, — написал Вольвовский в протоколе, — Толя Щаранский прочтет и эти мои показания. Я хочу, чтобы для него в тюрьме они стали доброй вестью с воли. Я хочу, чтобы он, обвиняемый в „измене Родине", знал, что его Родина не забыла о нем... что она молится о том, чтобы Всевышний укрепил его разум, его волю и совесть" (записано в пересказе).

* * *

Я уже упоминал о втором допросе на Малой Лубянке 12-а. Его вел все тот же следователь Копаев.

Первый вопрос был нетруден, как всегда. По просьбе Грузинского КГБ я подробно разъясняю цели и принципы „Международной Амнистии". Я цитирую ст. 1 статута группы. Вторую часть моего ответа Копаев в протокол записывать отказывается. Очень жаль. Приходится настаивать: „Я не стану отвечать на более детальные вопросы по поводу деятельности группы „Международной Амнистии", т. к. деятельность группы, насколько я понимаю, не является и не может являться предметом уголовного расследования. Как член группы я обязан защищать свою честь или, что то же самое, честь своей организации в тех рамках, которые допускаются законом".

Поскольку Копаев не записал это в протокол, я отказываюсь отвечать на все последующие вопросы, большинство

из которых действительно касалось деятельности группы: „Где проводились собрания, каковы отношения между членами группы, обстоятельства подписания различных документов и т. д.".

* * *

5 декабря

Один серый и холодный день в году, один день „Ивана Денисовича". Пятого декабря однажды приняли ту конституцию, которая потом больше всего нарушалась. В память об этом несколько человек приходят к памятнику Пушкина, снимают шапки и пять минут стоят в молчании, думая о людях, которые страдали и погибли без всякой вины и, наверно, даже без всякого смысла. Было много хороших и плохих поводов, чтобы этот исчез и забылся, но „5 декабря", почему-то, незабываемо. И как будто все равно, прийти ли в 6 часов вечера к памятнику Пушкина или оказаться незаконно задержанным в каком-то другом месте. День „Ивана Денисовича" — просто один интимный день в году: одни молчат минуту; другие больше. В этом только и разница.

Вечером на площади Маяковского двое схватили меня за руки сзади.

— Владимир Янович! Вы куда??

— А куда надо?

— Поедемте с нами...

— Зачем?

— Отказываюсь отвечать на Ваши вопросы, Владимир Янович, — сказал черноволосый и быстроглазый человек в летах. Он улыбнулся и знакомо заблестели его стальные зубы.

— Что — на обыск или допрос?

— Узнаете.

Ничего, разумеется, я не узнал (как, впрочем, и другие).* Четыре часа я просидел в пункте охраны общественного порядка в переулке Аркадия Гайдара — и меня отпустили. От-

* В этот же день та же участь постигла еще некоторых моих знакомых.

пустили по сути дела, с теми же бессмысленными словами, что и взяли. Как будто нам только требовалось напомнить друг другу, что мы существуем.

Все четыре часа они терпеливо просидели при мне, зевая, покуривая, лениво переговариваясь со мной. Там были еще трое.

Дружинники. Они говорили и курили охотнее, совсем не зевали и вели себя довольно хозяйски. Беспрестанно звонивший телефон трогать было нельзя. Когда я все-таки снял трубку, черноволосый отреагировал мгновенно, в результате чего в его руках оказался оторванный шнур, а в моих — мертвая трубка.

— Хулиганство! Хулиганство! — дружно закричали дружинники. Но никто толком не знал, что такое хулиганство.

— Если вы считаете, что совершено хулиганство, — сказал я, — вы должны действовать в соответствии со своими обязанностями. Кстати, вы их знаете?

Дружинники недовольно молчали. Тем временем черноволосый взял у светловолосого ножик и запросто починил телефон — этим он второй раз показал свое безусловное превосходство над всеми нами. Я пробовал читать лежащий на столе потрепанный роман про Петра Великого, но ничего не получалось. Оказался втянутым в разговор.

— ...Как Вы к нам относитесь, так и мы к Вам. Тем, кто нарушает порядок, не будет никакой пощады, — сказал один дружинник.

— Все дело в том, что Вы обязаны, — попробовал я объяснить, — поступать *всегда только* в строгом соответствии с законом. Ваша обязанность строго придерживаться закона не отменяется, если кто-то нарушает закон. Однако, борясь с правонарушителями, соприкасаясь с ними, Вы, возможно, обретаете некоторые черты их морали, то есть Вы поступаете с ними так же, как они с Вами.

* * *

В одной статье, написанной отказником, я прочел такую фразу: „Козел отпущения" — это такой козел, которого не отпускают, чтобы сделать из него козла отпущения".

Это, конечно, очень метко, но все-таки я не хотел бы быть козлом ни в каком стаде.

* * *

Заехал в дом, где вкусно кормят. Поел и влез в разговор: „По моему наблюдению, КГБ старается набирать себе людей порядочных, совестливых, работящих, потому что потом именно эти качества поедаются работой".

Меня сразу перебили, ибо обелять „органы" в приличном доме неприлично. Посоветовали подобного нигде больше не говорить и людей зря не баламутить. Кроме совета, получил представление о свободе слова.

* * *

5 декабря.

Топтуны стоят с ночи и ходят по пятам. Судя по всему, ходить они будут весь день. Один почему-то в очках с простыми стеклами. Решил все-таки пойти в гости. В 17.30 на Малой Филевской меня и мою жену останавливают двое уже известных: белобрысый молодой с еще более, чем в прошлый раз, усталым лицом и черноволосый со стальными зубами. Затем — машина и известный опорный пункт в переулке имени детского писателя Гайдара. Комната, правда, другая, и люди здесь, как будто, другие...

— Фамилия, имя, отчество и адрес...

Да, дружинник за столом тоже другой, но вопросы те же... Дружинник спрашивает — все, кроме меня, молчат.

— Место работы?

— Отказываюсь сообщить.

— Почему?

— Тоже отказываюсь сообщить.

— Причина задержания?

— Причины не знаю.

— Так не бывает.

— А ведь действительно, так не бывает. Но если случается то, чего не бывает, выясняют это здесь или где-нибудь в другом месте? Сегодня 10 декабря — день Прав Человека. Это ли не причина?

— Что Вы хотите этим сказать?

— Только то, что причины задержания я не знаю. Больше ничего.

— ...Так не бывает.

— Ну, допустим, я назову три причины на выбор. Какая Вас больше устроит:

1. Хулиганил на улице.

2. Шел в гости к известному писателю Георгию Владимову.

3. Убил женщину.

Он пишет: „Хулиганил на улице". А почему не „шел в гости к известному писателю Владимову", а почему не „убил женщину"? Потому что „так не бывает"?

Теперь без труда убеждаю его выбрать второй вариант, так как в первом и третьем нужны подробности, а их нет. Но, с другой стороны, „шел в гости к писателю Владимову" — не причина. Может быть, следствие?

— Так какова же, в конце концов, причина задержания? — недоумевает дружинник.

Отвечаю честно: „Причину задержания мне обещали объяснить здесь".

— Вы считаете, что Вас задержали без причины?

— Нет, я так не считаю. Если задержали, значит, есть причина. Если она мне неизвестна, это вовсе не значит, что ее нет. Без причины, по-моему, не задерживают.

— Верно, Вы рассуждаете разумно.

— Благодарю Вас. У Вас еще вопросы?

— Да, конечно... Вас, как я понял, часто задерживают?

— Почему Вы думаете, что часто?

— Вы сами сказали, что были здесь 5 декабря.

— Возможно, сказал, не помню. Все равно из этого ничего не следует.

— Неужели Вам приятно здесь сидеть, не зная причины задержания?

— Вполне. Я не без удовольствия беседую с Вами.

— Если Вам приятно беседовать, почему Вы не хотите сказать место работы?

— Вам еще непонятно? Я не хочу, чтобы на моей работе узнали об этой беседе. Боюсь, неправильно поймут. Вы тоже,

должно быть, не хотите, чтобы на Вашей работе узнали о ней? Судя по удостоверению, Вы работаете в энергетическом институте. Представьте, у нас с Вами окажутся общие знакомые, и они тоже узнают о нашей беседе с моих слов...

— И все-таки, как Вы полагаете, почему Вас задержали?

— С ним бесполезно разговаривать, — вмешивается черноволосый с металлическими зубами. — С ним беседовали много раз. Ни на какие вопросы он не отвечает.

— Неправда. На все вопросы я отвечаю, как могу. Но это же простая беседа. Любой из ее участников не обязан отвечать на любой вопрос. Вопросы бывают разные. Вы, например, — я обращаюсь к черноволосому, — не можете даже сказать, как Вас зовут. И я не настаиваю. Другое дело, когда допрос у следователя. Но здесь я никого не просил со мной беседовать, наоборот...

— А с Вами бесполезно беседовать, — не унимался черноволосый.

— Ну что ж, хоть мы и не знаем имени человека, который считает, что со мной беседовать бесполезно, но, наверное, стоит прислушаться к его словам.

— Вашего имени, между прочим, мы тоже не знаем, — не унимаются металлические зубы.

— Тем не менее, Вы задержали меня с женой на улице, назвали Владимиром Яновичем и вот даже беседуете. Нельзя же одновременно быть и формалистом и неформалистом.

— Тот документ, который Вы мне предъявили, не документ. Покажите его.

— Мне не хочется ничего показывать. Я показывал его дружиннику. Его мой документ вполне удовлетворил. Я не хочу показывать документы неизвестно кому.*

— Ну ладно... Говорить Вы, как видно, умеете, часто вызываетесь на допросы. Скажите, почему Вы оказываетесь среди тех, кого потом привлекают к уголовной ответственности?

— Скажу охотно, хотя и Вы оказываетесь среди тех же самых лиц.

---

* Речь идет о билете в читальный зал библиотеки им. Ленина.

— Вы юрист?

— Нет. Боюсь, Вы тоже не юрист. Впрочем, меня интересуют не юридические проблемы, а этические. Объясняю: длительное общение, например, следователя или такого, как Вы, работника (к сожалению, не знаю имени и должности) с правонарушителями обуславливает некое взаимное психологическое проникновение. Короче говоря, смешиваются этические нормы тех и других. Преступник начинает кое-что перенимать у следователя, а тот — у преступника. Вот меня и интересуют этические проблемы, которые возникают при таком взаимовлиянии. Вам понятно?

— ...Где Вы берете время этим заниматься? Вы же не имеете юридического образования, а беретесь за эстетические проблемы!

— Этические, а не эстетические. Юридическое образование здесь не требуется, хотя оно не помешало бы. Не требуется и много времени. Я читаю книги и беседую. Например, беседую сейчас с Вами. Возможно, этого не вполне достаточно, но все-таки, уверяю Вас, полезно. Если хотите, могу кое-что рассказать Вам... и Вашим коллегам...

— У нас хватает своих юристов...

После паузы:

— Вот Вы не говорите места своей работы. А хорошо бы сообщить туда, как Вы себя ведете...

— А Вы? Во всяком случае, не в соответствии со служебной инструкцией. Не помешало бы сообщить и на Вашу работу...

— Откуда Вы знаете наши служебные инструкции?

— Я знаю даже то, что знание инструкций не является преступлением.

Во второй раз наступает тягостное молчание. Все закурили. Даже светловолосый, раньше не куривший.

— „Уважаемые", а все-таки нехорошо, наверное, что Вы курите при даме без разрешения. Все-таки это моя жена!

Группа во главе с черноволосым отправилась в коридор курить, те же, что остались, потушили сигареты.

Черноволосый вернулся.

— Если будете заниматься работой и семьей, никто Вас задерживать не станет. Если будете жить, как раньше жи-

ли, то знайте, государство никаких денег на Вас не пожалеет...

— Вы говорите в высшей степени странно: а почему государство не пожалеет на меня денег? Деньги-то народные. Деньги надо жалеть. Они, извините, не Ваши, не говоря уже о том, что Вы не государство.

Он не ответил. На этот раз мы молчим, не глядя друг на друга, до самого расставания.

Пройдет еще час, пока он скажет: „Можете идти".

* * *

На квартие Н. сегодня обсуждали очередной протест. Оснований для него, как всегда, не мало. Да и куда им, основаниям, деться. Тем не менее, протест содержит голословные обвинения и перегружен эмоциями.

— Врага нужно бить его же оружием, — говорит какой-то новый, полный свежих сил.

— Нет, — приходится возражать, — оружием врага я не владею. Я презираю врага именно за его оружие.

Тут при мне припомнили якобы Солженицына: дескать, пусть они теперь доказывают свою невиновность так же, как в 37-ом заставляли нас доказывать свою.

Не слишком горячий спор заливает водой новый и полный свежих сил. Он — бывший следователь прокуратуры. Все с интересом слушают его рассказ. Бывший следователь интригующе повествует, как он однажды соврал и тем самым избавил себя от несправедливого наказания. Очень интересно! Даже теперь, не будучи следователем, он не понял, что врать стыдно. Я ушел. Протест с голословными утверждениями подпишут другие. Новый, полный свежих сил тоже, конечно, подпишет. Странно, почему незатейливые, без труда рожденные протесты всегда и всем понятны? Их легко поддерживают, легко печатают на Западе и здесь.

* * *

Еду в метро, когда непонятно откуда появляется нищий — на сегодня довольно-таки большая редкость. Не особенно

раздумывая, бросаю в протянутую кепку несколько монет и этим вызываю недовольство соседа, который говорит, что я поощряю тунеядцев. Нищий выходит на следующей станции. Входит много людей с узлами и чемоданами. Поезд трогается, въезжает в тоннель и почему-то останавливается. Казалось бы, теперь мой сосед должен ворчать по другому поводу, но он по-прежнему твердит, что, раздавая милостыню, я поддерживаю тунеядцев. Пришлось объяснить, что нищие приносят пользу обществу: они напоминают о милосердии. Дал я, например, нищему 20 копеек, зато вспомнил, что давно не писал своему другу, что пора навестить больную мать и т. д. Если в этой бесконечной и выматывающей суете не напоминать нам о милосердии, что же с нами будет?

Спор становится интересным для других. Кто-то сообщил, что нищие очень нечестные и очень богаты. Но продавцы в магазинах, говорят, тоже очень нечестны и очень богаты. А „профессия" нищего тяжела, вредна и небезопасна. Она должна оплачиваться по справедливости. Таково мое „неверное" мнение.

* * *

Кстати, о милосердии.

Роза Владимировна, моя приятельница, собирающая деньги для помощи политическим заключенным, недавно жаловалась:

— Когда я обращаюсь к своим знакомым с предложением пожертвовать деньги, — сказала она, — в ответ сплошное молчание. Не понимаю, в чем причина?

Действительно, в чем же причина?

По-моему, причина в неправильном понимании проблемы. Роза Владимировна делает добро не тем, для кого собирает деньги, а, главным образом, тем, у кого она их собирает (или пытается собрать). Она представляет людям легкую возможность совершить доброе дело. А ведь в жизни не часто встречается такая возможность.

Таким образом, проблема, о которой мы думаем, моральная, а не финансовая. На это обычно возражают, говоря, что финансовая тоже, но я не согласен. Кроме того, незначитель-

ная помощь не может истолковываться властями как „финансирование преступной деятельности". Это тоже важно.

* * *

Абрамович, в ответ на одному ему известные происки 133-го отделения милиции, направил туда письмо.

Начальнику 133 о/м г. Москвы
ст. лейтенанту милиции Копылову.

Еще раз извещаю Вас о том, что с 18 октября 1977 г. я возобновил свою трудовую деятельность. Однако я до сих пор не знал, что в СССР существует какой-то нормативный или законодательный акт, предписывающий гражданам сообщать в органы милиции место своей работы. Как я понял, Вы считаете обязательным для себя знать место моей новой работы. Считая, что существующее в СССР законодательство является открытым и доступным для каждого советского гражданина, каковым Вы меня считаете, я уверен, что Вас не должна удивлять моя просьба сообщить мне наименование вышеупомянутого документа.

Я понимаю, что проживание во вверенном Вам административном районе гражданина, длительное время уклоняющегося от трудоустройства, должно вызвать у Вас беспокойсто и даже тревогу. Но ведь я ни в коей мере не отношусь к разряду таких лиц. Начиная с 1971 г., когда я впервые возбудил ходатайство о выезде в Израиль, в связи с чем, кстати, я впервые лишился своей работы, я непрерывно работал — сначала частным преподавателем языка иврит и физики, а затем, с 1 апреля 1974 г. по 1 июня 1977 г., техническим секретарем у профессора Лернера А. Я. (соответствующие документы прилагаются). Далее, в мае 1977 г., наш договор по неизвестным мне причинам и без согласия обеих сторон был расторгнут, после чего я, как Вам уже известно, возобновил свою трудовую деятельность с 18 октября 1977 г.

(Дата, подпись.)

* * *

На столе у приятеля увидел протест, который я раньше не подписал. Его подписали многие знакомые и незнакомые. Кто они? Хорошо это или плохо? Возник разговор. Вот несколько мыслей из этого разговора.

Правозащитного движения в сущности нет. Общие проблемы прав человека тоже мало кого интересуют. Другое дело — конкретная информация о нарушениях закона. Ее сообщает группа из нескольких человек. Это дает им известность. Но главная цель движения остается нетронутой. Некоторых все-таки арестовывают, но не потому, что они виноваты более других, а, говорят, потому, что они не слишком известны. Отсюда — ложный вывод: чтобы человека не арестовали или, арестовав, освободили, нужно сделать его знаменитым. Ложный не только потому, что его опровергает сама жизнь, а потому, главным образом, что толкает нас на ложь.

Место исчезнувших мудрецов теперь заняли обычные деловые люди. С помощью иностранных корреспондентов они отодвинули моральные проблемы в сторону и заменили их проблемами практического смысла и политической конъюнктуры. Среди новых борцов есть много смелых людей, но одновременно неопытных и тщеславных. Таких, кто ищет свою выгоду.

С другой стороны, нехватка товаров и услуг сама по себе создает тип внутреннего неправедного существования, а вместе с тем и определенный тип инакомыслия. Сидишь ли в опере, пьешь ли ты дома кофе, консервируешь ли фрукты на зиму или владеешь автомобилем — в той или иной степени ты нечестный человек и помогаешь вору, либо перекупщику краденного, либо просто мошеннику, коим нет счета и числа. Ибо с давних пор принято в России, что незазорно и нестыдно для человека обворовывать казну государства.

Там, где постоянно чего-нибудь не хватает, трудно прожить век принципиальным человеком. На эту тему можно говорить долго, но пора домой.

— Постой, — говорят мне, — а почему демократическое движение, столь внимательное к политическим правам, почти равнодушно к правам социальным? Почему мы не требуем ввести в действие закон, который принят Верховным Советом еще при Хрущеве — о постепенном снижении налога?

Ведь по этому закону мы с тобой уже сейчас не должны платить налогов. Почему мы не требуем бесплатного транспорта и бесплатных лекарств? Почему мы не требуем того, что нам давно обещано?

Вопросы, вопросы...

Утром пришел печальный незнакомый человек по фамилии Иванов и попросил записать его в поборники прав. Стало жаль его, но помочь ему я ничем не мог.

* * *

Написал письмо в городскую прокуратуру.

„Несколько раз меня задерживали органы охраны общественного порядка. В частности, два таких задержания имели место 5 и 10 декабря.

5 декабря два человека в штатском остановили меня на площади Маяковского в 18 часов и препроводили в опорный пункт № 11 (пер. Аркадия Гайдара, д. 2/7), где я пробыл до 21.30.

10 декабря я и моя жена были задержаны теми же двумя лицами у станции метро „Пионерская" в 17.30 и отвезены в тот же опорный пункт, где мы пробыли до 23 часов. Причем ни в первом, ни во втором случае задержавшие не предъявили никаких документов и не объяснили никаких причин задержания.

Известен только номер автомашины „Волга" (МКЖ-36-87), светлого цвета, в которой меня с женой доставили в опорный пункт 10 декабря.

Прошу сообщить:

1. Насколько правомочны такие задержки, т. е. чем они обоснованы.
2. Что должен или что может делать человек, который оказывается в положении задержанного и неизвестно кем и неизвестно по какой причине.

С уважением (Подпись, дата.)

Скорее всего, что письмо куда-нибудь перешлют, либо напишут, что нет никаких данных о задержании меня 5 и 10 декабря. Посмотрим.

(См. приложение 5.)

* * *

Был в гостях. Хозяин весь вечер пытался починить магнитофон, иногда отвлекаясь на приготовление чая. Гости, пользуясь затишьем, делились друг с другом своими мыслями. Мысли имелись такие:

В свое время демократическое движение накопило некоторый этический опыт. Распространению этого опыта способствовал Самиздат, где печатались протоколы судебных заседаний, допросов, обысков и т. д. Потом в демократическом движении возник кризис, чему способствовали: 1) эмиграция, 2) аресты, 3) дело Якира—Красина и многое другое. Наконец, возникли противоречия внутри движения и почти увял самиздат.

В то же самое время по соседству росло и автономно развивалось еврейское движение за эмиграцию, задачи которого внешне выглядели гораздо проще. Конкретного этического опыта еврейское движение не имело вовсе. Те, кто много понимали, — быстро уезжали. Таким образом, те, кто не уезжали, часто не понимали ровным счетом ничего. И вот, наконец, этические и некоторые другие конфликты разделили еврейское движение на две неравные части. Одна, наиболее активная и наименее опытная, пришла к „демократам", пришла вместе со своей этикой. Эти люди надеялись в русле демократического движения достичь своих сиюминутных целей. Некоторые из них принесли в демократическое движение свои далеко не идеальные методы. Отсюда возникли беды. Вины тут нет ничьей. Есть только беды, беды неминуемые, ибо демократическое движение стало выглядеть духовно и материально зависимым от Запада. Однако, так как никто не знает, что будет дальше, мы все еще говорим: „Нет худа без добра".

А те, кому в сущности мы сейчас противостоим, тоже были когда-то диссидентами. Они были не трусливее нас, они сделали революцию. Нет! Нет! — посыпались возражения. Нет! — сказал кто-то. — Хотя все-таки, если наш уважаемый лидер найдет способ выдвинуть свою жену...

* * *

— ...Дальше я печатать не буду! — сказала машинистка. — Вы критикуете Сахарова за то, якобы, что он выдвинул свою жену на Нобелевскую премию. Это не правда! Академик Сахаров поддержал выдвижение Хельсинкских групп на Нобелевскую премию. Его жена действительно член хельсинкской группы. Но это не столь важно.

— Во-первых, Вам не понравилось в моем пересказе чужие реплики. Во-вторых, свою точку зрения я хотел изложить внизу в сноске. Моя критическая позиция вполне доброжелательна. Я считаю, что присуждение Нобелевской премии хельсинкским группам истолковывалось бы как политическая и финансовая поддержка Западом демократического движения в СССР. А нам требуется лишь моральная поддержка — все другое, определенно — „медвежья услуга".

Кроме того, нельзя не обратить внимание, что некоторые члены хельсинкских групп, например, Петр Григоренко, открыто поддерживают кампанию по присуждению им Нобелевской премии. Это не совсем подходяще. Таким способом они хотят спасти из тюрьмы своих товарищей. Наивность! Способов для спасения много, но не следует забывать, что большинство из них нечестно.

— И все-таки Ваша позиция мне претит. Писать об этом, по-моему, не следует.

— Нет, следует, если Вы не хотите быть похожими на своих оппонентов.

* * *

У Абрамовича новости. При его участии в 133 отделении милиции состоялась дискуссия: должен ли Абрамович сообщить в милицию место своей работы или не должен? Спор пришлось перенести в районную прокуратуру.

— А что, разве нельзя узнать, где работает Абрамович? — спросил районный прокурор.

— Можно, но неудобно, — ответил чем-то смущенный милиционер.

Довольно быстро выяснилось, что закон от Абрамовича требует только, чтобы тот трудился, но вовсе не требует, чтобы он уведомлял милицию о месте своей работы. Кроме

того, выяснилось, что Абрамович занят еще частным преподаванием языка иврит, в связи с чем платит налоги. Прокурор обещал разобраться.

(См. приложение 3.)

* * *

— Вы не боитесь, — спросила машинистка, — что на обыске Вам подбросят пачку долларов, как это случилось у Александра Гинзбурга?

— Не боюсь.

— Вы верите в эту Вашу этическую культуру? Что она убережет Вас?

— Нет, не только...

— А во что Вы верите, если не секрет?

— В Бога.

— Ох, и любите Вы красиво говорить!..

* * *

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

Приложение 1. Переписка по поводу публикации статьи „Жизнь в отказе" газетой „Красное знамя".

Среди бумаг, случайно полученных из города Харькова, нашлась одна, которая напоминала мне о том, о чем, наверное, стоило бы забыть.

Первому секретарю Харьковского
обкома КП Украины т. Сахнюку И. И.
от Ландера В. А.
Харьков-166, Крымская, дом 6а, кв. 64.

Уважаемый Иван Иванович!

13 октября 1977 г. я был приглашен сотрудником отдела агитации и пропаганды В. Смирновым для разбора группо-

вой жалобы по поводу опубликованной в газетах „Красное знамя" и „Вечерний Харьков" статьи Н. Соловьева „Жизнь в отказе".

В ходе беседы было установлено, что в указанной статье допущены высказывания оскорбительного характера в отношении группы граждан города Харькова, а также недопустимые для областной прессы искажения эмиграционной политики нашего государства. (Под словами „наше государство" В. А. Ландер, в данном случае, подразумевает СССР.*)

В связи с этим хочу выразить благодарность т. Смирнову и другим товарищам,** принявшим участие в разборе жалобы, а также сожаление по поводу отказа т. Смирнова обязать Н. Соловьева и редакции указанных газет принести свои извинения в печати, как того требует Закон.

С уважением — В. Ландер
17 октября 1977 г.

Итак, вспомнив о статье Соловьева, я написал следующее:

В Прокуратуру СССР
103793 Москва-Центр,
Пушкинская, 15-а.

Жалоба

В открытке от 4.11.77 за № 7 Прокуратура СССР известила меня о пересылке моей жалобы в Харьковский обком КП Украины, откуда я до сих пор не получил ответа. Есть ли возможность получить хоть какой-нибудь ответ?

2.3.78 г. — Альбрехт

Написанное мною кануло в небытие, пришлось написать еще раз. 6.4.78 почта вдруг принесла короткую записку от главного редактора „Красного знамени". Конечно, без даты и без регистрационного номера.

---

* В ряде других документов Ландер „нашим государством" называл Израиль. После послучения разрешения на выезд в Израиль он уехал в Америку.

** Фамилии этих товарищей Ландеру остались, очевидно, неизвестны.

117454 Москва, Кронштадтский бульвар,
дом 30, корп. 2, кв. 431.
В. Я. Альбрехту.

По мнению компетентных журналистов, Н. Соловьев написал статью „Жизнь в отказе" на должном профессиональном уровне, использовав достоверные факты.

Редактор газеты „Красное знамя" С. Ковригин

Приложение 2. Окончание моей переписки с Сергеем Владимировичем.

Секретарю Советской группы
„Международной Амнистии"
Альбрехту В. Я.

Уважаемый Владимир Янович!

В октябре с. г. я выразил свое желание принимать участие в работе Советской группы „Международной Амнистии". Я уже много лет с восхищением и благодарностью следил (не специально, а просто в тех счастливых случаях, когда удавалось поймать по радио передачи с соответствующей информацией) за благородной и самоотверженной деятельностью надгосударственной неполитической организации „Эмнести Интернэшнал". Но до последнего времени у меня не было возможности познакомиться с кем-нибудь из представителей этой организации в СССР. И вдруг в октябре с. г. такая возможность появилась: достойные люди порекомендовали меня как кандидата в члены „Эмнести" новому председателю Советской группы Г. Н. Владимову. Во время состоявшихся между мной и Владимовым бесед я охотно согласился оказывать посильную помощь столь гуманной международной организации. Кстати, думаю, что против моей кандидатуры не имели бы ничего против и другие члены группы, особенно те, которые знают меня лично.

Затем у меня было несколько бесед с Вами, как секретарем Группы, которые вместо прояснения затуманили организационно-практический вопрос о возможности оформления моего членства в „Эмнести". То Вы говорили, что в

СССР (в силу специфики местных условий) никакого официального членства нет, а стало быть, не бывает и заявлений о приеме в члены, то потом говорили, что все-таки какое-то (хоть и специфическое) членство существует, и в своем письме от 9 ноября с. г. предложили мне написать заявление, причем не лаконичное, а с изложением моих взглядов на „Эмнести".

Вначале мне казалось, что Вы не хотели бы видеть меня в числе членов группы — не по причине каких-то моих личных качеств, а по той причине, что я кандидат в эмигранты (правда, получивший отказ от властей). В Вашем письме тон задавала следующая колючая фраза: „Мне совсем не хочется, чтобы наша группа использовалась как ширма, маскирующая какую-то инородную цель, пусть даже такую невинную, как Ваша". Если бы Вы затем не дали мне неоднократных и удовлетворивших меня объяснений о том, что *лично меня* Вы все-таки не подозреваете совсем ни в каких „маскировках", то я просто стал бы плохо думать о Вашей нравственности, о болезненной шпиономании и тому подобное.

Так что будем считать, что у нас нет никаких личных антипатий и трений, а есть только обоюдная забота об интересах столь благородного дела.

5 декабря с. г. в своем очередном письме Вы предложили мне дополнить переданное мной Г. Владимову заявление о принятии меня в члены Советской группы „Международной Амнистии" констатацией, что я считаю себя обязанным придерживаться законов СССР (несмотря на мое намерение эмигрировать из СССР по политическим соображениям). В связи с этим резонным соображением сообщаю Вам — так же, как я уже сообщил в письменной форме Г. Владимову 17 декабря с. г. — что, независимо от моего „инакомыслия" (носящего абсолютно демократический и гуманистический характер) и от моего намерения эмигрировать из СССР, я действительно считаю себя обязанным — до тех пор, пока я не буду лишен советского гражданства — соблюдать *Конституцию* СССР (содержащую, наряду с многочисленным серьезными недостатками, ряд важнейший деклараций демократического звучания) как Основной закон государства и *основные,* а именно: опубликованные и, таким образом,

гласные, законоположения СССР, не противоречащие Конституции.

Разумеется, как и все имеющие гражданское правосознание люди, я соблюдаю и буду соблюдать законы в их дословном смысле (принимая их за чистую монету, причем в духе Всеобщей декларации прав человека и других основополагающих международных документов, подписанных Советским Правительством), т. е. в их прямом смысле, не искаженном какими-либо негласными инструкциями и интерпретациями неконституционного или, тем более, противоконституционного характера, о существовании которых ни я, ни Вы, ни 260 миллионов советских граждан не могут и не обязаны знать.

Говоря о таких вопросах, было бы уместным подчеркнуть, что, согласно международному праву, юридические нормы международных правовых актов, подписанных правомочными представителями государств, становятся составной частью внутреннего законодательства, обязательной для соблюдения и государством, и всеми его гражданами.

Подытоживая это, имею честь заявить Вам как секретарю Советской группы „Международной Амнистии", помогать которой я считаю своим долгом и высокой честью, что я стою за соблюдение законов государства в рамках и контексте законности при естественном условии ненарушения ее государством.

С уважением к Вам и к Группе

27 декабря 1977 г.

Сергей Владимирович!

Давайте останемся друзьями, однако я позволю себе коечто сказать по совести, потому что своим последним письмом Вы меня окончательно огорчили.

Начнем с главного.

Я просил Вас дописать в заявлении от 21 ноября, что Вы считаете себя обязанным уважать советские законы — просьба, как будто, и простая, и естественная. Она продиктована не желанием узнать Ваши политические взгляды. Я не полицейский — и Ваши политические взгляды меня интересовать не должны. Меня интересует только, не расходятся ли эти

Ваши взгляды с пунктом 2 нашего Статута и больше, очевидно, ничего.

Каков же на это ответ? Полная непонятность. По-Вашему, Конституция СССР содержит недостатки. Вы пишите про какие-то „антиконституционные инструкции", о существовании которых никто, как Вы сами признаете, не может и не обязан знать. И в итоге Вы сами себя называете инакомыслящим — как это понимать? Не знаю! Вы „стоите" за соблюдение законности, но почему-то при условии ненарушения ее государством! Непонятно! А если должностные лица нарушают закон, разве Вы должны делать то же самое? Разве у Вас нет права на обыкновенный и законный протест?

Получается примерно такая картина. Я спрашиваю: „Вы уважаете законы?", а Вы отвечате: „Уважаю, если правительство уважает". Значит, я должен спрашивать у правительства? Это же абсурд!

Вы пишите: „Достойные люди меня порекомендовали как кандидата в члены „Эмнести" новому председателю ... Владимову". По-моему, это нескромно. Но надо сказать, что достойные рекомендатели, если не ошибаюсь, уже эмигрировали к „родственникам" в „Израиль", а раньше, если я опять не ошибаюсь, они тоже хотели вступить в „Эмнести". Поймите, Сергей Владимирович, я никого не осуждаю. Я просто хочу пояснить, почему они, эти достойные люди, содействовали Вашему намерению легко и охотно, а я не легко и не охотно.

Далее... Никакой „болезненной шпиономании", я думаю, у меня нет. Но о моей нравственности Вы вправе думать как угодно. Хотя одно дело думать, другое дело говорить или писать. Я действительно не подозреваю Вас „ни в каких маскировках". Зачем мне, посудите сами, подозревать, что Вас зовут Сергеем Владимировичем, когда я могу просто спросить: „Как Вас зовут?" И если у нас возникает непонимание, то я ли один тому виной? Вспомните наш первый разговор в связи с Вашим желанием содействовать работе „Эмнести". Я спросил о Вашей профессии. Вы ответили — поэт-песенник. Я попросил прочитать из того, что Вы пишите. Вы дали длинное письмо к властям с требованием разрешить выезд за границу. Письмо содержало те голословные обвинения, которые у нас допустимы только в адрес правительств буржуаз-

ных стран. Но, с моей точки зрения, голословные обвинения вообще недопустимы. Разумеется, мне не понравился Ваш стиль, я понял его как сумел — и как сумел написал 9 ноября первое письмо. Одновременно, если помните, я передал для ознакомления Статут группы. Почему? Потому что я надеялся, что Вы мне ответите. Предположим даже, что Вы вступите в группу с тем, чтобы насолить властям и убедить их вытолкнуть Вас из страны. Как знать, достаточно ли это подходящий повод не принимать Вас в группу и высмеивать Ваш поступок? Если членство в группе поможет кому-то уехать, разве это такой уж несусветный грех для нас? Я думал, что Вы напишите ответ, но Вы ничего не написали — значит, мы виноваты оба.

Далее... Вы пишите, что я дважды по-разному объяснял процедуру оформления членства. Мне кажется, что не по-разному, и более, чем дважды, но какая разница? Я всегда готов объяснить еще раз. Итак, во-первых, существует официальное членство в соответствии со Статутом группы — здесь, надеюсь, все понятно. Но существует и практическая сторона, она довольно сложна, поскольку трудностей у нас более чем хватает. Мы, например, плохо связаны не только с секретариатом в Лондоне, но и просто друг с другом. Некоторые наши товарищи находятся в тюрьме. В ссылке секретарь группы Твердохлебов. Почта теряет наши письма, телефонной связи часто не бывает. Зато нам помогают, к счастью, многие люди, которым вовсе не нужно формального членства, которые просто считают наше дело добрым и полезным, и помогают нам так, как будто они члены нашей организации.

Например, я предлагал Вам заняться проблемой приговоренных к смертной казни. За границей опубликованы данные об использовании (якобы) труда этих людей на урановых рудниках. Понятно, что такие сведения порочат Советский Союз, и задача наша (пока), наверное, ограничивается требованием к властям опровергнуть циркулирующие за границей сведения.

Вы не захотели этим заниматься. Ну, что ж — займется кто-то другой. Если не ошибаюсь, сейчас Вы переводите для группы брошюру о пытках — это тоже хорошо. А поскольку

Вы решили уехать, то, я думаю, Ваша помощь должна быть только временной.

И, наконец, все-таки главное.

Сергей Владимирович, как известно, Вы нигде долгое время не работаете. Вместе с тем Вы добиваетесь не работы, а членства в группе. Я боюсь поэтому возникновения ложного впечатления, что, став членом группы, Вы будете якобы получать какие-то средства к существованию, например, от лиц, которые, предположим, заинтересованы в нашей с Вами деятельности. Короче говоря, может возникнуть мнение, что само членство в „Эмнести Интернешнл" создает человеку некоторый престиж, который сам по себе способствует оказанию ему материальной помощи со стороны, допустим, сочувствующих иностранцев. Иначе непонятно, почему человек ищет встречи с председателем группы вместо того, чтобы искать работу.

Отсюда вопросы: 1) Следует ли нам с Вами игнорировать подобную точку зрения? Насколько подобная точка зрения для нас с Вами опасна, и что мы должны или могли бы ей противопоставить? 2) Следует ли считать, что человек, который нигде не работает, нарушает все-таки советские законы (хотя в этой части они, допустим, несколько противоречивы: с одной стороны — право на труд, а с другой — обязанность трудиться)?

Попробуем теперь ответить.

В организации, где я когда-то работал, существовал на должности инженера очень деловой общественник Потап Потапович. В качестве инженера Потап Потапович ничего не делал, он только числился. То ли он руководил месткомом, то ли выпускал стенную газету — не помню. Я даже не помню точно его имя, но я помню, что народ Потапа Потаповича не любил как трутня и пустобреха, но терпел как некий неизбежный и общепринятый атрибут. Подобных „Потапов Потаповичей" в нашей стране предостаточно. Они сидят почти во всяком учреждении на различных должностях. Везде они числятся на той работе, которой либо не существует, либо она выполняется другими. И везде отношение к Потапам Потаповичам примерно одинаковое, однако их молчаливо „кормят" за их непонятно кому нужную „общественную де-

ятельность". И вот тут-то возникает главный вопрос: нужен ли нам институт своих „Потапов Потаповичей" в противовес почти такому же полуофициальному институту чужих? Короче говоря, нужен ли нам этот стиль?

В нашей стране, Сергей Владимирович, плохо ли, хорошо ли, но существует, я думаю, какой-то определенный тип мышления.

Тому, кто выбрал для себя правозащитную деятельность, необходимо все-таки где-то работать, то есть не иметь отговорки, а иметь легальные средства к существованию. В противном случае отношение к нему со стороны всех остальных будет такое же, как к „Потапу Потаповичу". А с другой стороны, если человек живет неизвестно на какие средства, его инакомыслие или его политические взгляды очень легко дискредитировать с помощью очень простого объяснения: „Ваши взгляды оплачены ЦРУ" или „Ваше инакомыслие оплачено" добрыми людьми „из-за океана". Вот, кстати, почему диссидентов удобно увольнять с работы. Однако „Потапов Потаповичей" тоже, в случае большой нужды, несложно уволить с работы. И никто, кроме нас с Вами, не помешает им, переходящим в „диссиденты", принести с собою собственный их стиль и дух.

Хотя о чем теперь спорить, Сергей Владимирович? Наша переписка как будто бы хорошо завершается — Вы, наконец, получили разрешение на выезд. То есть получилось так, как я предполагал вначале: мы будем переписываться, и Вы, тем временем, получите визу. Но интересно! Ведь ничего существенного мы как будто не делали? Мы писали друг другу письма. Вы ходили в гости к знакомым иностранцам. Правда, я помог Вам написать еще одно заявление в ОВиР, но оно не содержало ничего существенного. И тем не менее, Вы получили разрешение. Произошло чудо. Те люди, которые несколько месяцев назад говорили неизвестно почему „нет", вдруг, к Вашей радости, сказали „да", тоже, кстати, неизвестно почему. Однако разве тем самым эти люди не признали, что они обыкновенные преступники? Не давая объяснений своим действиям, они лишают или не лишают человека его прав, неизвестно за чью добродетель или вину и неизвестно на какой срок. А Вы получили от вора назад украден-

ные Ваши собственные права и, говоря „спасибо", идете с радостью домой упаковывать вещи. Где гарантия, что у Вас молча не отнимут то, что дали несколько минут назад?

И все-таки что помогает нам жить, видеть мир таким, какой он есть? Что помогает нам говорить правду другим об их словах и поступках? Наверное, только то, что сами мы не боимся еще сказать правду. А что же еще?

Думаю, Вы поймете меня и не обидетесь.

Искренне Ваш, В. Альбрехт.

19 ноября 1978 г.

* * *

Сергей Владимирович, милый человек, не скупо выбрал для меня день и час из тех немногих дней и часов, которые были для него теперь самыми счастливыми и, одновременно, самыми загруженными. Я поздравил его с разрешением. Он прочувствованно сказал „спасибо". Я тоже прочувствованно сказал „спасибо". Потому что он помог мне написать о той правде, о которой я никогда не написал бы без него. Он, надеюсь, теперь это понял. При публикации нашей переписки я обещал изменить его имя и профессию. Обещание я выполнил.

* * *

Недавно мы с приятелями говорили о том, как двуличное поведение в течение многих лет убивает способность человека логически мыслить и правильно оценивать ситуацию. Разговор этот следовало бы считать вполне ординарным, если бы не один анекдот, который хорошо иллюстрирует тему.

Рабиновича исключили из партии. Придя домой, он долго не мог уснуть. А когда все-таки уснул, увидел сон. Мировая общественность, возмущенная тем, что Рабиновича несправедливо исключили из партии, дошла до того, что добилась от Израиля объявления Советскому Союзу войны.

Когда же израильские танки вступили на Красную площадь, на трибуну Мавзолея взошел Моше Даян. Он спросил толпу: „Евреи, чего вы хотите?"

„Мы требуем, чтобы Рабиновича восстановили в партии", — закричали евреи.

Приложение 3. Дело по обвинению Абрамовича в тунеядстве.

— Если Абрамович не представит справки с места работы, его обвинят в тунеядстве.

— А если представит?

— Тогда его уволят и все равно обвинят в тунеядстве. *(Из разговора двух отказников).*

Зам. прокурора Первомайского района
г. Москвы Бондаренко Н. Н.
от Абрамовича П. П., проживающего
по адресу: Москва 105528,
15-я Парковая, д. 39, кв. 65.

Жалоба

7 февраля 1978 г. капитан милиции 133 отд. г. Москвы Оболянский сообщил мне, что с 19 января 1978 г. против меня возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 1, т. е. меня обвиняют в тунеядстве. Однако, поскольку такое обвинение необоснованно, Оболянский допросил меня 7 февраля 1978 г. в качестве свидетеля именно в целях получения обоснований к предъявленному мне обвинению.

На эти незаконные действия капитана Оболянского я приношу настоящую жалобу и требую, чтобы возбужденное против меня уголовное дело было закрыто.

Кроме того, считаю своим долгом сообщить:

1) В прошлом, обычно сообщая органам милиции место своей работы, я ее лишался. В данном случае я не боюсь потерять работу — я боюсь не протестовать против практики незаконных увольнений, поскольку такая практика может привести к результатам, которые никто не способен предвидеть.

2) Та работа, которую мне удалось найти, не устраивает меня фактически и является лишь удобным способом оспаривать Ваше обвинение в тунеядстве.

Я рад тому, что эта работа не отнимает слишком мно-

го времени, а, следовательно, не мешает моей главной деятельности, связанной с преподаванием языка иврит.*

Однако, именно эта моя деятельность, по-видимому, кого-то не устраивает. Как мне сказал помощник прокурора Астафьев Н. В., „преподавние языка иврит запрещено".

Посудите, могу ли я протестовать против подобных действий работников прокуратуры, запрещающих преподавание языка и изыскивающих неблаговидные пути реализации такого запрета путем предъявления необоснованного обвиненения? Очевидно, не могу.

В прошлом по обвинению в тунеядстве, а фактически за преподавание иврита был осужден мой товарищ Иосиф Бегун. В отличие от меня, он не стал искать себе побочной работы только для того, чтобы отвести незаконные обвинения в тунеядстве. В результате Бегун осужден за тунеядство.

Разумеется, я проявил малодушие и устроился еще на одну работу. Но надеюсь, что это не слишком серьезный повод, чтобы заставлять меня проявлять еще большее малодушие, т. е. заставлять сообщить Вам о месте своей работы, а потом безропотно ждать, пока опять уволят и без каких-либо оснований и причин.

Итак, исходя из вышеизложенного, прошу Вас истребовать мое дело и прекратить его.

Прошу также официального и принципиального снятия запрета на преподавание иврита. (Список лиц, обучающихся у меня языку, я передал капитану милиции Оболянскому по его требованию.)

26 февраля 1978 г.

П. Абрамович

... Абрамович надеется на здравый смысл следственных органов, но его надежды пока далеки от реальности.

---

* Абрамович считает именно эту деятельность своей главной работой.

„СОГЛАСЕН"
НАЧАЛЬНИК ПЕРВОМАЙСКОГО РУВД
Г. МОСКВЫ ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ
(МАЗИН Н. С.)

„УТВЕРЖДАЮ"
ПРОКУРОР ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
Г. МОСКВЫ МЛ. СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
(ПЛАТОНОВ В. В.)

„1" марта 1978 г. „ " марта 1978 г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № 16948 по обвинению Абрамовича Павла Перецевича в преступлении, предусмотренном ст. 209 ч. 1 УК РСФСР.

19 января 1978 г. дознанием 133 отделения милиции г. Москвы было возбуждено дело № 16948 в отношении Абрамовича П. П. по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 ч. 1 УК РСФСР (л. д. 1).

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы о ведении Абрамовичем П. П. в течение длительного времени антиобщественного паразитического существования и злостного уклонения от трудоустройства (л. д. 2-13).

Произведенным по делу дознанием установлено, что Абрамович П. П. злостно уклоняется от трудоустройства, в течение длительного времени ведет антиобщественный паразитический образ жизни, а именно: в течение года не работал более 4-х месяцев, злостно уклоняется от общественно-полезного труда, жил на нетрудовые доходы, в связи с чем ему 3 октября 1977 г., в соответствии с постановлением ПВС РСФСР от 30 мая 1977 года, начальником 133 отделения милиции г. Москвы сделано формальное предостережение о прекращении паразитического существования и необходимости трудоустройства в месячный срок. Однако он должных выводов для себя не сделал, без уважительных причин не трудоустроился в месячный срок и продолжает вести антиобщественный паразитический образ жизни (л. д. 2-13, 18, 26-28, 40).

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Абрамович П. П. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 ч. 1 УК РСФСР, не признал и пояснил, что после официального предостережения с 18 октября 1977 года работает по найму и, кроме того, частным образом преподает язык иврит. Место работы сообщить не желает. Тунеядцем себя не признает (л. д. 33-35, 41-42).

Однако вина Абрамовича П. П. в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 ч. 1 УК РСФСР, полностью подтверждается показаниями свидетелей Гулина Н. И. (л. д. 26-27), Брагина С. Д. (л. д. 28), копией трудовой книжки (л. д. 5), справкой Московского городского комитета профсоюза работников местной и коммунально-бытовых предприятий (л. д. 18) и другими материалами дела.

Свидетель Гулин Н. И. подтвердил, что на ранее обслуживаемом им участке проживает Абрамович П. П., который до 1 марта 1977 г. работал по договору у Лернера А. Я., после этого длительное время не работал, и 3 октября 1977 года у Абрамовича было отобрано официальное предостережение о необходимости трудоустройства в месячный срок и прекращения паразитического существования. Произведенными в дальнейшем проверками было установлено, что Абрамович в месячный срок не трудоустроился и продолжает вести паразитический образ жизни. Абрамович давать объяснения отказывается, работает он или нет, не сообщает (л. д. 26-27).

Свидетель Брагин С. Д. пояснил, что на обслуживаемом им административном участке проживает Абрамович П. П., который длительное время не работает, и у него было отобрано официальное предостережение о необходимости трудоустройства в месячный срок 8 октября 1977 г. 16 ноября 1977 г. Брагиным была произведена проверка трудоустройства Абрамовича, но последний объяснение дать отказался и место работы не сообщил. 15 декабря 1977 г. вновь было проверено трудоустройство Абрамовича, но было установлено, что он не работает (л. д. 28).

Проверкой в Московском городском комитете профсоюзов рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий установлено, что Абрамович П. П. с 1 сентября 1974 г. по 1 марта 1977 г. работал по найму у гр-на

Лернера А.Я., доктора технических наук. После расторжения договора 1 марта 1977 года вновь регистрация договора о найме не проводилась. Проверка производилась 4 января 1978 г., а Абрамович заявил, что вновь работает по найму с 18 октября 1977 года, что документально не подтверждается. Следовательно, ссылка его на то, что он работает по найму, несостоятельна (л. д. 18-19).

Ссылка Абрамовича на то, что он не является тунеядцем, так как частным образом преподает язык иврит, также является несостоятельной. Для преподавания необходимо иметь педагогическое образование, а Абрамович педагогом не является. Кроме того, для преподавания частным образом необходимо пройти регистрацию в финансовых органах. Поскольку Абрамович не является педагогом, финансовые органы лишены возможности зарегистрировать его как преподавателя и принять на обложение подоходным налогом. Следовательно, данная деятельность Абрамовича является незаконной (л.д 38).

Проверкой личности Абрамовича П.П. установлено, что он имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, на иждивении имеет одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судим (л. д. 23-24). По состоянию здоровья Абрамович может выполнять работу служащего, не связанную с поднятием тяжестей и нахождением на открытом солнце (л.д. 20-21, 46).

На основании изложенного: АБРАМОВИЧ Павел Перецевич, 24 марта 1939 года рождения, уроженец г. Москвы, еврей, гр-н СССР, беспартийный, образование высшее, женат, военнообязанный, не работающий, проживающий по адресу: г. Москва, 15 Парковая ул., дом 39, кв. 65, ранее не судим –

ОБВИНЯЕТСЯ:

в том, что он злостно уклоняется от трудоустройства, в течение длительного времени ведет антиобщественный паразитический образ жизни, а именно: в тече-

ние года не работал более 4-х месяцев, злостно уклонялся от общественно полезного труда, жил на нетрудовые доходы, в связи с чем ему 3 октября 1977 года в соответствии с Постановлением ПВС СССР от 30 мая 1977 года начальником 133 отделения милиции г. Москвы сделано официальное предостережение о прекращении паразитического существования и необходимости трудоустройства в месячный срок, однако, он должных выводов для себя не сделал, без уважительных причин не трудоустроился в месячный срок и продолжает вести антиобщественный паразитический образ жизни, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 209 УК РСФСР.

Данное уголовное дело вместе с обвинительным заключением в соответствии со ст. 124 УПК РСФСР подлежит направлению прокурору Первомайского района г. Москвы для утверждения обвинительного заключения и передачи в народный суд.

Обвинительное заключение составлено 1 марта 1978 года в городе Москве.

„Согласен"
ст. лейтенант милиции
(КОПЫЛОВ В. М.)

Инспектор дознания 133 о/м
г. Москвы капитан милиции
(ОБОЛЯНСКИЙ)

СПИСОК

лиц, подлежащих вызову в суд:

1. Обвиняемый — Абрамович Павел Перецевич, находится на подписке о невыезде, прож.: г. Москва, 15 Парковая ул., 39, кв. 65 (л. д. 33-35, 41-42).
2. Свидетели — Гулин Николай Ильич, прож.: г. Москва, 15 Парковая дом 39/61 (л. д. 26-27).
   Брагин Сергей Дмитриевич, прож.: там же (л. д. 28).

СПРАВКА

1. Уголовное дело возбуждено 19 января 1978 года.
2. Обвинение предъявлено 2 февраля 1978 года.

3. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде 1 марта 1978 года.
4. Требования ст. 201 УПК РСФСР выполнены 1 марта 1978 года.
5. Обвинительное заключение составлено 1 марта 1978 года.

Примечание: свидетели – два участковых милиционера, фактически возбудивших уголовное дело против Абрамовича, указан адрес их общежития.

... Скоро, кажется суд.

В Первомайский районный народный суд
г. Москвы от Абрамовича П. П.,
проживающего по адресу: г. Москва 105523
16-я Парковая ул. дом 39, кв. 65.

ХОДАТАЙСТВО

Насколько я понимаю, на днях состоится судебное разбирательство в связи с предъявленным мне обвинением в тунеядстве (дело № 16948 передано в суд 3 марта 1978 г.). Существует мнение, что в тех случаях, когда обвинительное заключение необосновано, зал суда почему-то заполняют какие-то похожие друг на друга лица, цель которых свести на нет гласность судебного разбирательства.

Поскольку я считаю выдвинутое против меня обвинение необоснованным, но в то же время нисколько не возражаю против гласного судебного разбирательства, я обращаюсь с настоящим ходатайством о допущении в зал заседания моих родственников и друзей...

Далее следует перечень из 23 фамилий, подпись.

Дату Абрамович поставить забыл – наверное, потому, что волновался.

Итак подготовимся к предстоящему суду.

Абрамович уже был на судебном заседании и специально посмотрел, как оно протекает. Если будет время, он, конечно, сходит еще раз и хорошо бы туда, где председательствует его будущий судья. А пока он сидит дома и листает Уголовно-процессуальный кодекс.

Допустим, ст. 272: **Объявление состава суда, объяснение права отвода и т. д.** ...

— Знаю! — говорит машинистка. — Знаю. Перед тем как ответить на вопрос судьи, доверяет ли подсудимый рассматривать настоящему суду свое дело, Абрамович кое-что спросит.

— Вы правы. Он скажет, что добивался разрешения на отъезд в Израиль. (Об этом есть указания в материальных делах.) А в Советском Союзе таких, как он, считают „изменниками Родины". Таким образом, Абрамович задаст вопрос (судье, заседателям, прокурору) : считают ли они его ходатайство о выезде в Израиль антиобщественным поступком, считают ли они Абрамовича „изменником Родины"?

— А если судья скажет: „Ваш вопрос не относится к настоящему делу".

— Да, Вы правы, — ответит тогда Абрамович. — Этот вопрос действительно не относится к моему делу, но он относится к вопросу, доверяю ли я Вашей беспристрастности или не доверяю...

Если суд считает Абрамовича „изменником Родины" еще до того, как он стал рассматривать его дело по обвинению в тунеядстве, то есть сомнения в беспристрастности.

— Значит, Абрамович поставит судью в неловкое положение, а потом даст отвод?

— Нет, не обязательно. Суд, который считает всякого желающего уехать в Израиль изменником, конечно, должен быть пристрастным, но давать отвод, наверное, бесполезно. Вряд ли можно доверять тому решению, которое примут судьи относительно себя самих. Нет пока никакого смысла отправлять их в судейскую комнату.

— Значит, отвод вообще не стоит давать?

— Нет, почему же? Если судья оскорбит подсудимого, а заседатели смолчат, то в знак протеста стоит, наверное, дать отвод, то есть отправить суд на время в судейскую комнату.*

Ст. 278: **Начало судебного заседания.**

---

* Интересно, что Андрей Твердохлебов отказался от своего права давать судьям отвод.

Предположим, начало выглядит так:

Судья: „Признаете ли Вы себя виновным?"

Подсудимый: Я признаю себя виновным в том, что преподаю иврит – язык моего народа. Это, очевидно, категорически запрещено.

Я признаю себя виновным в том, что честно платил налоги за свое честное преподавание, на что, оказывается, тоже не имел права.

Я признаю себя виновным в том, что в течение длительного времени добивался права на преподавание иврита, в том, что пытался получить программы изучения языка иврит в различных вузах. Меня беззастенчиво обманывали, писали, что программ нет.

Я верил. Я виноват в том, что верил.

Я виноват в том, что верил в справедливость. Наверное, я должен был бы признать себя виновным в том, что родился евреем, но я признаю себя виновным только в том, что заставляю Вас судить себя по Вашему ложному обвинению в тунеядстве.

– А если судья перебьет и не даст договорить? – спрашивает машинистка.

– О, потому мы и печатаем сейчас этот текст, а потом положим его на стол секретарю суда.

Кстати, надо отправить еще два ходатайства, которые Абрамович собирается представить суду.

ХОДАТАЙСТВО

В деле имеется заключение райфинотдела, в котором, возможно, излагается официальная точка зрения по поводу преподавания иврита в СССР. Однако автор этого заключения не вызван в суд. Ни в качестве свидетеля, ни в качестве эксперта. Он не предупрежден об ответственности, например, за дачу ложных показаний. Инструкция Министерства финансов, на которую ссылается автор (зав. Первомайского райфинотдела), в материалах тоже не имеется. Поэтому нет, наверное, оснований доверять подобному заключению. В то же время у меня имеются вырезки из советских газет, где изложено то же самое, но гораздо более откровенно и автори-

тетно. Таким образом, я ходатайствую о приобщении к материалам дела этих вырезок.

Вот наиболее важные цитаты:

1. „Советская общественность не может мириться с тем, что кружки ирврита еврейские националисты хотят использовать для пропаганды сионистской идеологии, для культивирования духа национальной исключительности и откровенного расизма". (газета „Известия" от 24.12.76.)

2. „Эксгумированный" из талмудических текстов язык (иврит) не стал по сей день эффективным инструментом художественного и научного творчества... Иврит не стал даже преобладающим языком в высшей школе. На нем не издаются университетские учебники по большинству отраслей знания". („Литературная газета" от 8.02.78.)

Такова официальная точка зрения на язык иврит. Она, очевидно, дает понять, каковым должно быть отношение со стороны финансовых и иных органов к преподаванию языка иврит и к преподавателям языка иврит.

Абрамович

* * *

Есть ли польза все это печатать? По мнению очень многих, результат суда предрешен. Суд — это ведь комедия. Допустим, а что теперь делать? И к тому же жанр комедии тоже предполагает свои законы.

Стало быть, подсудимый обязан шутить?

Подсудимый не должен бояться шутить. Если невиновный человек испугается, в этом и будет его вина.

Но шутка подсудимого может не понравиться судье, и судья скажет: „Прекратите паясничать". Что ответит тогда обвиняемый?

Обвиняемый ответит: „Если Вы, гражданин судья, будете оскорблять, то Вы не сможете судить. Вам надо выбирать что-либо одно: или оскорблять, или судить".

„Не учите", — скажет судья.

„Я отвечаю на Ваши вопросы", — скажет подсудимый.

Статья 271. **Установление личности подсудимого и своевременности вручения копии обвинительного заключения.**

Подсудимый: Обращаю внимание суда на то, что председательствующий при выяснении моей личности упустил существенный факт. Я – гражданин Израиля. В материалах дела есть соответствующий документ, подтверждающий мое израильское гражданство. Я считаю себя обязанным говорить правду. Я уважаю советские законы. В традициях евреев всегда было уважать законы той страны, в которой они живут. Поэтому я считаю своим долгом говорить правду: ,,Я – гражданин Израиля, таковым я себя считаю. Я не вправе считать себя гражданином СССР. Законодательство СССР не признает двойного гражданства. Фактически я гражданин СССР против своей воли. Мое советское гражданство исключительно формально. Я полагаю, что в том случае, если Вы запишите, что я гражданин СССР, это будет оскорблением для тех, кто считает себя гражданином СССР фактически, а не формально, как я.

Возможный вопрос судьи: Возбуждали ли Вы ходатайство о лишении Вас советского гражданства?

Подсудимый: В соответствии с установленным в СССР правопорядком, всякий человек, получающий разрешение на выезд в Израиль, автоматически лишается советского гражданства, за что платит очень большую пошлину. Например, моя семья должна заплатить за это 1000 рублей. Вы представляете, как нам дорого советское гражданство. Таким образом, всякое прошение о выезде в Израиль с помощью властей стало фактически прошением о лишении гражданства.

К сказанному могу добавить, что в 1973 г. я пытался отказаться от советского гражданства, о чем подал соответствующее прошение в Президиум Верховного Совета СССР на имя Председателя Подгорного. Ответа я не получил. Где теперь Подгорный и мое прошение – не знаю.

Статья 280. **Допрос подсудимого.**

Судья: Вам предлагается дать показания по поводу предъявленного Вам обвинения.

Подсудимый: Я не знаю, что я могу сказать по существу, так как с моей точки зрения дела не существует. Обвинение не доказано, я не вижу ни суда, ни дела. Если меня не будут перебивать, я готов пояснить. Под словом суд подразумевается гласное судебное разбирательство. Но в этом зале нет публики, а мои друзья стоят на улице, их в зал не пустили. Но допустим, я зря говорю о суде, и надо говорить о деле.

Пожалуйста. В деле якобы есть доказательства того, что я нигде не работаю. Этот факт, например, подтверждает справка из ЖСК „Северянин". Но ведь из справки следует, что я не работаю в ЖСК „Северянин". Это не означает вовсе, что я нигде не работаю. Неужели непонятно? Неужели я должен ходатайствовать о приобщении к материалам дела телефонной книги, из которой будет ясно, что не все организации и предприятия СССР подчинены ЖСК „Северянин"?

Обвинение доказывает, что я не имею права преподавать иврит. Я могу пояснить, что с 1971 г., когда начал преподавать иврит, эта моя деятельность была зарегистрирована в Первомайском райфинотделе. Потом право на преподавание иврита было отменено. Так не потому ли Вы судите меня, что оно было отменено? Граждане судьи, мой долг преподавать иврит именно потому, что его преподавание запрещено. Я хочу, чтобы Вы это поняли. Я обязан преподавать иврит. Это точно так же, как врач обязан лечить больного, если лечить некому, а судья должен быть справедливым, если, кроме него, быть справедливым некому. Это мой долг, иначе я поступить не могу. Вы судите меня за то, что я не могу поступить иначе.

Статья 283. **Допрос заинтересованного свидетеля (в качестве беспристрастного).**

— 3 октября 1977 г. Вы мне сделали предупреждение о ведении мною паразитического образа жизни и необходимости трудоустройства в месячный срок. Одновременно Вы получили мои объяснения? Этим объяснениям Вы обязаны верить? Или Вы их должны проверить?

— Да, эти объяснения я должен проверить.

— А на чем основано Ваше предупреждение 3 октября? Из чего следует, что я нигде не работал тогда?

— Тогда Вы были уволены с работы. Вы работали секретарем у Лернера.

— То есть Вам была известна та причина увольнения, из которой следует, что я — тунеядец.

— Нет.

— Тогда на чем основано Ваше предупреждение?

— Вы же сами объяснили, что Вы тогда не работали.

— Допустим, объяснил. Но Вы не должны верить моим объяснениям, Вы должны их проверить. А раз Вы их не проверили, значит, Ваше предупреждение необосновано. Кроме того, прошу суд приобщить к материалам дела справку, полученную от проф. Лернера, в которой Лернер утверждает, что я у него работал с 1 сентября 1974 г. по 1 августа 1977 года. Это доказывает, что предупреждение от 3 октября незаконно.

Предполагаемый вопрос судьи: „А почему Вы не указали сами, что работаете у Лернера?"

Предполагаемый ответ подсудимого: „Надо ли мне было впутывать в свои неприятности престарелого Лернера, про которого газеты писали, что он дал указания Щаранскому заниматься шпионажем?"

* * *

— Но ведь судья как будто имеет право отвести вопрос, который подсудимый задает свидетелю? — перебивает меня машинистка.

— Да, имеет, зато подсудимому в таком случае придется объяснить цель своего вопроса.

— Ну и что? Каковой может быть эта цель?

— В данном случае, допрашивая свидетеля, подсудимый докажет, во-первых, что органы милиции необоснованно сделали ему предупреждение и, во-вторых, то, что у него до сих пор есть причина скрывать от милиции место своей работы. Дело в том, что договор Абрамовича и Лернера расторгнут вопреки желанию и того и другого и по причине, которая так и осталась неизвестной, несмотря на все старания Абрамовича. (По этому поводу Абрамович обращался даже в суд.) Расторжение догов ра произошло после того, как Аб-

рамович предъявил в милицию справку с места своей работы. А затем как результат возник повод привлечь его к ответственности за тунеядство. Короче говоря, Абрамович вначале показал справку, потом лишился работы и, наконец, стал тунеядцем...

— А если все-таки судья не позволит подсудимому задавать вопросы?

— Не мотивируя запрет?

— Да, не мотивируя запрет.

— В этом случае, по-моему, следует поступить так: подсудимый должен разъяснить суду, что он, подсудимый, уважает закон и мораль, а потому не имеет намерения и права ставить суду какие-либо условия. Но его право задавать на суде вопросы — есть бесспорное и естественное право. Судья, который этого не понимает, не может быть судьей. Он должен сам себе дать отвод. Здесь уже надо настаивать. В крайнем случае, надо попросить перерыва и посоветоваться с адвокатом, как быть дальше.

Не грех, если судья счел слова подсудимого ультиматумом и принял его.

* * *

— А вдруг на суде неизвестно откуда появится свидетель Сидоров и, сославшись на одному ему известные слова подсудимого, начнет утверждать нечто несусветное?

— Не беда. Придется напомнить Сидорову, что подсудимый обвиняется в тунеядстве, а не в том, допустим, что он обманул Сидорова.

— Кто должен объяснить?

— Наверно, судья или адвокат. Хотя если считать, что они оба боятся публики, которая специально подобрана для зала, то объяснить должен подсудимый.

— Кому?

— Судье или адвокату.

— Главным образом...

— Нет, главным образом, важно, чтобы жена подсудимого, сидящая в зале, при этом не проронила ни слова. Потому что в противном случае, по всей видимости, судья удалит ее из зала.

— Это некрасиво.

— Некрасиво? Вы полагаете, судья не сумеет скрыть злорадство и изобразить возмущение?

— Нет, я не об этом. Будет некрасиво, если после перерыва ее не впустят вновь.

— О! Конечно, некрасиво! Если судья не умеет скрывать злорадство и изображать благородное возмущение, не умеет некрасивое делать красивым! Поймите, судья „готов будет" удовлетворить просьбу подсудимого, то есть готов будет впустить в зал судебного заседания его жену, но он потребует, чтобы та извинилась. Дальнейшие события нетрудно предвидеть. Чувство обиды и унижения скорее всего заставит бедную женщину говорить не о своем поступке, а о том, что вызвало этот поступок. Таким образом, ее, к удовольствию публики, опять выдворят из зала.

— Это ведь форменное издевательство.

— Справедливо замечено, но надо добавить, что судья, понимая это, требует, тем не менее, того, что не имеет права требовать.

— Как же быть?

— Не знаю. На ее месте я бы сказал судье так: „Гражданин судья! Вы требуете, чтобы я просила прощения — и я прошу то именно, что Вы требуете. А так как я понимаю, что Закон не дает Вам права этого требовать, то я охотнее просила бы Вас в соответствии со статьей 263 УПК РСФСР, оштрафовать меня на 10 рублей.

— Можно проще?

— Можно: „Гражданин судья, извините. Я понимаю, обстоятельства заставляют меня быть мужественной, но я обычный человек".

— Неужели иначе нельзя?

— Можно. В крайнем случае судью можно слегка пристыдить: „Гражданин судья, Вы забываете, кажется, что Вы судья. Не забывайте, что Вы мужчина".

— Очень интересно, Вы всегда так находчивы?

— Отнюдь нет. Скорее всего, наоборот. Например, недавно, когда я просил пропустить меня на открытое судебное заседание, некто в штатском сказал мне: „Как

только появится свободное место, я пущу Вас вслед за тем человеком в сером костюме. Он пришел раньше Вас..."

— Ну и что Вы ответили?

— Ничего, к сожалению. Меня поразил цинизм.

— А что бы Вы ответили теперь, подумавши?

— Теперь бы я ответил, что готов стоять в очереди за мукой, за мясом, за ватой, за квасом, за квартирой, тем более за крышками для консервирования, но не готов стоять в очереди за правосудием!

* * *

Последнее слово обвиняемого.

Так как судья станет мешать подсудимому говорить, то задача подсудимого помешать судье. Если удастся два-три раза парировать придирки председательствующего, то можно считать речь удачной.

О чем же сказать?

Прежде всего о том, как Абрамович оказался „тунеядцем".

Итак, некогда Абрамович окончил институт. Получил диплом инженера, устроился на работу. А затем вдруг уволился „по собственному желанию". Почему? Дело в том, что Абрамович пожелал уехать в Израиль. В отделе кадров ему объяснили: „Если не уволишься по собственному желанию", то подведешь всех остальных. Утверждать, что времена тогда были более суровыми, чем теперь, наверное, не стоит.

Прощаясь с Абрамовичем, директор его учреждения (человек очень хороший) сказал, что он вряд ли останется директором после всего, что произошло. Но вроде ничего особенного не произошло. Хотя, в конце концов, директор действительно перестал быть директором, а Абрамович начал преподавать иврит. Потому, наверное, что на языке, который запрещен, легче объяснить то, что объяснить почти невозможно. Как частный преподаватель иврита Абрамович оформился в райфинуправлении и платил налоги. Потом регистрацию отменили неизвестно почему, и Абрамовичу стало угрожать „тунеядство".

Кстати, в данный момент у него уже три работы. Последнюю он нашел совсем недавно — как-никак у него семья. А еще и судебные издержки, наверно, придется платить.

* * *

Свою речь Абрамович так и не написал. Потому, что суд по его делу так и не состоялся.

Вначале заседание отложили (вопреки протесту подсудимого), потом почему-то перенесли на месяц (вопреки его жалобе, которая была написана вопреки советам адвоката), а потом и вовсе все затихло (вопреки всей логике). Вроде бы дело лежит на доследовании. Абрамовичу оно тоже порядком надоело.

* * *

„А чем же все-таки кончилось дело Абрамовича?" — не терпится узнать читателю.

— Не знаю. Абрамович до сих пор не нашел времени это узнать. Он же по-прежнему работает на двух работах.

— Что же у него совершенно нет свободного времени?

— Есть. Но в свободное время он по-прежнему занят ивритом.

Приложение 4. Переписка с прокуратурой по поводу задержания 5 и 10 декабря.

Прокуратура СССР

Прокурору Калининского района
г. Москвы младшему советнику
юстиции **тов.** Степанову **О. И.**
125499 г. Москва, Кронштадтский
б-р. дом 30, корп. 2, кв. 431
Альбрехту В. Я.

4.01.77 г. 6КМ-2027-77

Направляется Вам для проверки заявление гр. Альбрехта В. Я. на необоснованное задержание и доставление в опор-

ный пункт № 11 26 отделения милиции г. Москвы 5 и 10 декабря 1977 г.

О результатах сообщите заявителю.
Приложение: на 1 листе и конверт.

Зам. начальника отдела по надзору
за следствием и дознанием в органах МВД
старший советник юстиции В. Д. Матохина.

Спустя некоторое время я написал жалобу.

В Прокуратуру г. Москвы
Новокузнецкая, 27

от Альбрехта В. Я.,
проживающего там-то.

Пом. прокурора по надзору
за органами КГБ
тов. Фунтову

ЖАЛОБА

Письмом от 4.01.77 № 6 КМ-2027-77 из Московской городской прокуратуры (здесь, по-видимому, ошибка, письмо отправлено в 1978 г.) меня уведомили о пересылке моего заявления из прокуратуры Москвы в районную прокуратуру Калининского района. В прокуратуре Калининского района мое заявление получено 5.1.78 и отправлено опять в городскую прокуратуру к Вам, тов. Фунтов, пом. прокурора по надзору за органами КГБ, где, как я понял, оно затерялось. Таким образом, я вновь посылаю свое заявление от 24.12.77 (копию) и надеюсь, в соответствии с законом, получить ответ. Одновременно прошу Вас наказать то должностное лицо, по вине которого до сих пор я не получил ответ.

6.03.78 — С уважением В. Альбрехт.

На жалобу был получен „ответ".

Прокуратура СССР — Зам. прокурора Калининского района
тов. Объедкову К. И.

Копия: — Москва, 125499, Кронштадтский
бульвар, дом 30, корп. 2, кв. 431
гр. Альбрехту В. Я.

Прокуратура г. Москвы
17.03.78 № 6 КМ-887-78

Направляется для рассмотрения жалоба (заявление) гр. Альбрехта В. Я. по поводу необоснованного доставления в опорный пункт 26 отделения милиции.

О принятом решении просьба сообщить заявителю.

Приложение на 2-х листах.

Зам. начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД
В. Д. Матохина.

Через какое-то время из разговора по телефону с тов. Объедковым я понял, что прокуратура Калининского района не располагает никакими данными о задержании меня 5 и 10 декабря. Теперь я пытаюсь убедить Объедкова написать об этом честно и открыто. Он не хочет. Поэтому я пишу ему следующее письмо.

В Прокуратуру Калининского района
зам. прокурора Объедкову К. И.

от Альбрехта В. Я.,
проживающего там-то

Товарищ Объедков!

Из разговора с Вами я понял, что Вам не хочется посылать письменный ответ на мою жалобу. Вы спрашиваете, зачем мне нужен письменый ответ. Объясняю еще раз:

1. Письменный ответ даст возможность обжаловать его в более высокой инстанции. Как обжаловать Ваш устный ответ, я не знаю.

2. По закону, на жалобу, поступившую в прокуратуру, должен быть в установленные сроки выдан письменный и мотивированный ответ. Если один из нас нарушает закон, обязанность другого, по крайней мере, сказать об этом.

3. В своей жалобе от 6.3.78 я написал, что обращаюсь в Прокуратуру с одним и тем же второй раз. Мое заявление от 24 декабря прошлого года потеряно неизвестно кем, когда и где. Таким образом, если я сейчас не получу письменный ответ, то у меня окажется слишком мало шансов верить Вашему устному ответу, но зато слишком много шансов поверить в то, что потеря моего заявления от 24 декабря прои-

зошла не случайно. Однако, товарищ Объедков, я по-прежнему хочу сохранить уважение и доверие к органам прокуратуры.

С уважением Альбрехт

27 апреля 1978 г.

20.5.78 г. последовало приглашение на 23 мая в Прокуратуру Калининского района от помощника прокурора Коростелева. По телефону Коростелев заверил меня, что непременно даст письменный ответ на мою жалобу. Я пришел.

В самом начале разговора я попросил Коростелева еще раз дать заверение, что сегодня я получу от него письменный ответ на свою жалобу. Коростелев без труда заверил, но...

Вот каким был конец нашей беседы:

— Вам надо обратиться в Министерство Внутренних Дел. Мы не располагаем данными о Вашем задержании. Машина, номер которой Вы указали в заявлении, в этот день из гаража не выезжала.

— Из какого гаража, Вы, конечно, не скажете?

— Я не знаю: ГАИ обычно не сообщает.

— Хорошо. Я надеюсь, Вы, как обещали, сейчас же напишите все это в ответе на жалобу.

— Зачем?

— Затем, что Вы обещали дать письменный ответ.

— Но в этом нет необходимости, я Вам все объяснил.

— Очень возможно, что действительно нет необходимости, но Вы обещали... И получается, что Вы меня обманули?

— Да я же Вам все объяснил! Зачем Вам письменный ответ?

— Письменный ответ мне, наверное, Вы правы — не нужен, но мне еще более не нужно, чтобы Вы меня обманывали, и я пришел сюда, по существу, только за тем, чтобы Вам это сказать.

— Ну, Вы, Владимир Янович, провокатор.

— Ничего подобного! Какой же я провокатор? Я пришел по Вашему приглашению. А о своей главной цели я Вам честно сказал заранее.

— Что Вы сказали?

— Я сказал в начале нашего сегодняшнего разговора, что боюсь утратить доверие к работникам прокуратуры. Фактически это же я говорил Вам по телефону.

— Нет, по телефону Вы сказали другое.

— Почему другое? Я сказал, что не хочу к Вам идти, во-первых, чтобы не отвлекать Вас от более важных дел, а, во-вторых, я сказал, что боюсь...

— Да, Вы так сказали.

— Да, я так сказал. А теперь посмотрите на последнюю фразу моего письма к Объедкову (оно лежит прямо перед Вами) и Вы легко поймете, чего я боюсь: я боюсь потерять уважение и доверие к работникам прокуратуры. Вот видите?

Мне очень жаль, что Вы меня обманули. Но я надеюсь, впредь Вы так поступать не будете. Я хочу в это верить...

— Вас даже интересно послушать, Владимир Янович...

— Не знаю, интересно ли, но, по-видимому, у Вас еще есть дела?

— Да, Вы правы, в коридоре меня, как Вы, наверное, заметили, ждет человек с откушенным носом.

— Да, заметил. Ну, до свидания.

— До свидания.

Не было у меня уверенности, что меня больше не будут задерживать, поэтому через пару дней я написал следующее:

Помощнику прокурора Калининского района Коростелеву

от В. Я. Альбрехта проживающего там-то

Прошу Вас переслать мою жалобу в Министерство Внутренних Дел, то есть туда, куда Вы рекомендовали обратиться.

В. Альбрехт

26.5.78

Ответа я не получил. Зато на слелующий день на станции метро Сокол в 22 часа 50 мин. меня задержал для проверки документов бравый лейтенант милиции тов. Суетин.

Вот и вся история. Если только вся...

Приложение 5. Переписка с „Литературной газетой".

Москва,
Кузнецкий мост, 13

Прокурору РСФСР
Кравцову В. В.

За последние несколько месяцев в советской печати появился ряд статей, где недостаточно убедительно, но зато достаточно ясно оценены основные материалы и свидетельские показания по делу Анатолия Щаранского (см. газеты „Известия" от 4 марта и 7 мая 1977 года). Подобные публикации продолжаются (см. „Литературную газету" от 31 августа 1977 г.), что само по себе вызывает поток зарубежных откликов и комментариев, которые, в свою очередь, стимулируют реакцию советской прессы.

В возникающих условиях мы, те, кто обеспокоен судьбой Анатолия Щаранского, те, кому дороги правосудие и справедливость, обращаемся к Вам с некоторой надеждой, что Вы предпримете какие-нибудь меры, чтобы публикации прекратились, по крайней мере, до суда, так как в противном случае у А. Щаранского не останется ни одного шанса на справедливый и беспристрастный разбор дела.

Всем известно, что в Советском Союзе хорошо ли, плохо ли – печать пользуется большим авторитетом, чем это имеет место в других странах. В Советском Союзе главный редактор центральной газеты принадлежит к руководству той партии, где обычный судья рядовой член.

Что останется сказать судье тогда, когда за него уже все будет сказано другими и, главное, в достаточной мере авторитетно? Не будет ли, в конце концов, на суде при закрытых дверях над евреем Щаранским осуждено само правосудие?

Леонид Вольвовский
Евгений Либерман
Виктор Браиловский
Илья Цитовский
Леонид Менес
Владимир Престин, Москва 107207 ул. Уральская, 6-4-11

25.10.77

Письмо отослано 2.11.77. Ответ не получен.

Редактору „Литературной газеты"
Чаковскому А. Б.*

Александр Борисович!

Статью „Шантаж", опубликованную у № 52 от 28 декабря 1977 г., думаю, не следует принимать как явный отход от прежней позиции, изложенной два раза в „Известиях", потом неявно в „Литературной газете" от 31 августа и, наконец, наиболее красноречиво и четко в сообщении ТАСС от 29 октября с. г. Впрочем, статья „Шантаж" противоречива, т. е. она состоит из чередования верных и неверных утверждений. Обратите внимание (цитирую): „Вопрос о виновности или невиновности Щаранского, а также о степени его вины будет решать советский суд на основании собранных по делу доказательств", – мысль правильная, спору нет. Но что мы читаем дальше? Цитирую: „Никто не вправе выносить свое суждение, пока не принято постановление суда". Это утверждение, конечно, ошибочно. Более того, по закону как раз наоборот: никто не вправе мешать другим выносить свое суждение независимо от того, было ли постановление суда или не было. Ни суд, ни какое бы то ни было другое учреждение не должны лишать людей их естественной, если хотите, обязанности мыслить и иметь собственное суждение.

Как известно, и после и до суда над Анджелой Дэвис в нашей печати (и не только в нашей) публиковались различные заявления в ее защиту, даже без учета конкретных обстоятельств предъявленного обвинения. Как видите, такая практика вполне допустима.

Вернемся, тем не менее, снова к статье „Шантаж". (Цитирую): „Не вправе делать таких заключений и мы, авторы статьи", – мысль опять верная. Почему? Потому что статья публикуется в центральной советской газете и будет восприниматься большинством читателей как достаточно авторитетная точка зрения, основанная на хорошо проверенных данных. Мнение „Литературной газеты" – это авторитетное мнение, и оно может, конечно, оказать влияние на суд. Однако, как ни странно, авторы статьи Валентинов и Рощин по-

* Письмо приводится с небольшими сокращениями.

чему-то все-таки делают заключение о виновности Щаранского, и, обратите внимание, каким образом: вначале говорится об американских „сенаторах, которые ретиво ходатайствуют за тех, кто совершает серьезные правонарушения", – фамилии Щаранского здесь как будто нет. Далее речь идет о лицах, совершивших „уголовно-наказуемые деяния". Конкретно о Щаранском здесь вроде бы тоже не написано. Но вся-то статья посвящена исключительно Щаранскому и его делу.

„Правило это не знает никаких исключений", – читаем мы. К сожалению, „правило" кое-какие исключения, наверное, знает. Только не известно, что понимать под словом „правило". „Нельзя, – читаем мы далее, – и это еще раз подтверждено Всеобщей декларацией прав человека – считать человека виновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком", то есть путем судебного разбирательства при строгом соблюдении всех процессуальных норм". Сказано красиво, хотя при таком вольном цитировании статьи II Всеобщей Декларации Прав Человека оказался опущенным очень важный текст. Я считаю нужным его восстановить, по крайней мере для того, чтобы уловить смысл правила, не знающего исключений. Таким образом, после слов „законным порядком" следует читать: „ ...путем гласного судебного разбирательства, при котором ему (т. е. обвиняемому – В. А.) обеспечиваются все возможности для защиты".

Итак, во-первых, все-таки неясно, что считать „правилом, не знающим исключений". Во-вторых, надо ли думать, что слова о *гласном* судебном разбирательстве выпали из правила или заменены в нем случайно или вопрос о гласности еще не решен. Но самое главное, наверное, в-третьих: ведь в любом случае ясно, что и ст. II Всеобщей Декларации Прав Человека, и вышеупомянутое „правило" апеллируют не к отдельным гражданам, а к властям, которые должны обеспечить либо „гласное судебное разбирательство" и все возможности для защиты обвиняемого", либо, по крайней мере, „строгое соблюдение процессуальных норм". Следовательно, вывод, сделанный в статье, при условии, если он не адресован компетентным органам, абсолютно нелеп. Цитирую: „Будь ты хоть до мозга костей убежден ..., закон не дает

тебе права навязывать ... свою убежденность другим". И далее: „Никто не может навязывать суду свою убежденность"... Последнюю фразу хорошо бы изложить так „Никто из тех, кто может навязывать суду свою убежденность, не должен этого делать", поскольку надо быть слепым, чтобы не видеть, как некоторые, имеющие силу и власть, навязывают свою убежденность другим.

К сожалению, Валентов и Рощин не ответили на свой собственный вопрос: почему Щаранский получил на Западе такую серьезную поддержку даже со стороны людей, не знакомых с обстоятельствами предъявленного ему обвинения. Кстати, этот вопрос касается и товарищей Щаранского, например, Орлова и Гинзбурга, — хотя в отличие от них, Щаранскому грозит смертная казнь, кроме того, его дело, как и всякое дело о шпионаже, не является в полной мере внутренним делом лишь одного государства: американцев всегда интересовала деятельность их собственного ЦРУ.

Итак, в статье „Шантаж" есть вопрос, но нет ответа. Хотя ответ весьма незатейлив: на Западе считают, что длительное пребывание в тюрьме любого человека без суда и без адвоката является преступлением наверняка более серьезным, чем то, которое этому человеку инкриминируется (тем более, когда инкриминируется шпионаж и угрожает смертная казнь). Справедливо это или нет, вопрос спорный.

А впрочем, статья „Шантаж" все равно появилась слишком поздно, чтобы существенно повредить чему-либо хорошему или воспрепятствовать чему-либо плохому. До этого газеты писали о виновности Щаранского вполне определенно (см. газету „Известия" от 4 марта и 7 мая 1977 г.), что в известной степени вызвало реакцию на Западе, которая (судя по всему) в свою очередь вызвала „Шантаж" „Литературной газеты". Ясно, что статья „Литературной газеты" критикует реакцию Запада. Неясно только, почему не упомянуто главное: весь поток публикаций по делу Щаранского открылся письмом Липавского, адресованным, кстати сказать, Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Значит, постороннее вмешательство в дело, например, со стороны США, предполагалось и возникло с самого начала. То есть какая-то капля благородного гнева статьи „Шантаж" адре-

сована, надо думать, и редакции „Известий", опубликовавшей впервые письмо Липавского. В то же время нельзя не отметить, что имелись и разумные возражения против подобных публикаций (см. в этой связи прилагаемую копию письма прокурору РСФСР Кравцову).

Столь большой интерес к делу и столь большой спектр затронутых проблем заставляет заведомо предполагать открытое и гласное судебное разбирательство. (Несмотря на столь живописное изъятие соответствующего места при цитировании в „Шантаже" ст. 11 Всеобщей Декларации Прав Человека.) Отсюда — тема очень важной воспитательной стороны судопроизводства, по поводу которой в прошлом возникло множество кривотолков. Как предполагают некоторые, основываясь на примерах из прошлого, вышеупомянутая воспитательная сторона должна быть во всей своей полноте реализована только якобы в том случае, если обвиняемый осознает всю тяжесть им содеянного и вступит на путь чистосердечного раскаяния, т. е. если он станет сотрудничать с обвинением. Как на это возразить — неизвестно.

За последнее время иностранное радио несколько раз повторило информацию, которую трудно понять: следствие по делу Щаранского продлено и в то же время следствие закончено. Если следствие, допустим, продолжительностью в 8 месяцев закончено, то нельзя поверить, что обвиняемому необходимо полгода для ознакомления с его плодами. Короче говоря, происшедшие события некоторые понимают так, что дополнительные полгода необходимы для того именно, чтобы оказать на Щаранского давление, имеющее вполне определенную цель. В этом смысле приходится понимать как безусловно неправильные слова „подрывной" радиостанции „Свобода", процитированные в статье: „Суда нет, поскольку он „сказался бы крайне отрицательно на ходе Белградской конференции". Таким образом, суда, выходит, нет якобы совсем по другой причине: не готов „сценарий".

Так вот, для опровержения такого, а также любого другого, по всей видимости, неправильного мнения (которому, как удачно сказано в статье, не откажешь в „своеобразной логике") могла бы оказать известную помощь „Литературная газета". Кроме того, важно понять и главную задачу

предстоящего (открытого) суда. Она, думаю, не сводится только к тому, чтобы скомпрометировать Щаранского и его друзей, а также всех тех, кто их на деле поддерживает, она, безусловно, шире, но зато она и проще. Предстоящий открытый процесс (если он будет) должен показать миру, что уровень справедливости, который обеспечивает советское правосудие, есть именно то, чему другие могут каждый день завидовать, что ошибки периода культа личности и волюнтаризма, имевшие место в далеком прошлом, не характерны и не присущи нашему обществу по сути его. Однако если открытого суда не будет, эта задача окажется не под силу, например, газетам. Именно потому, наверное, задачи правосудия никому не под силу, кроме самого правосудия.

Я был бы признателен за публикацию этого письма.

30 января 1978 г. Владимир Альбрехт.

При ответе ссылайтесь на наш № 012164/25

„4" апреля 1978 года

В. Я. Альбрехту

Поскольку у сотрудников редакции вечный дефицит времени, я буду вынужден ограничиться лишь самыми короткими ответами на Ваши вопросы.

1. Статья „Шантаж" ни в коей мере не означает явного отхода от „прежней позиции". В этом мы полностью с Вами согласны.

2. Вы правы — выражение „никто не вправе выносить свое суждение, пока не принято постановление суда" сформулировано неточно. Разумеется, каждый имеет право на собственное суждение, даже если он не знает абсолютно ничего. Лучше было сказать: „Никто не вправе навязывать другим свое суждение..." и дальше по тексту.

3. Ваши, может быть, и хитроумные умозаключения о том, как „Валентинов и Рощин делают заключение о виновности Щаранского", остались совершенно непонятными для редакции. Вы пишите: „Фамилии Щаранского здесь как будто нет". Да не „как будто" — этой фамилии в цитируемом Вами отрывке на самом деле нет. Что же касается того, виновен или невиновен Щаранский, то здесь позиция

авторов абсолютно четкая и не может вызвать никаких недоумений.

4. Согласно советскому закону, разбирательство дел в судах открытое и гласное, за исключением специально оговоренных в тексте закона случаев (дела о сексуальных пре-стплениях и о разглашении государственной тайны и т. п.).

5. Ваше утверждение о том, что „длительное пребывание в тюрьме без адвоката является преступлением наверняка более серьезным, чем то, которое ему инкриминируется", выглядит смехотворным (см. УПК).

6. Ваши похвалы в адрес авторов письма Прокурору РСФСР довольно странны: ведь это письмо свидетельствует о том, что авторы совершенно потеряли чувство демократизма. Пресса не подчиняется ни Прокурору РСФСР, ни Генеральному Прокурору СССР. Неужели Вы не могли заблаговременно подсказать тем, кто подписывал письмо, чтобы они не „подставлялись" так неосторожно?

7. Благодарим Вас за разъяснение целей и задач советскго суда. К сожалению, мы не сможем опубликовать Ваших рекомендаций — эти цели и задачи более полно и всесторонне освещены в действующем законодательстве.

С приветом Б. Крымов
Иностранный отдел „ЛГ"

Ряд замечаний (если бы я писал ответ Крымову)

Из ответа „Лит. газеты" красноречиво вытекает, казалось бы, все необходимое. Писать туда, наверное, больше незачем. Кроме того, ответ Крымова датирован 4 апреля. В тот самый день в „Известиях" появилась статья, где Гинзбург назван известным „антисоветчиклм". Если принять во внимание, что А. Гинзбург ожидает суда точно так же, как и Щаранский, то все написанное Крымовым теряет всякий интерес, как, впрочем, и то главное, что написано в статье „Шантаж" в качестве „правила, не знающего исключений". Итак, получается, что человека считают преступником не с того момента, когда объявлен судебный приговор, а с того момента, когда известные органы решаются его „судить".

В этом случае роль прессы — помощь осуждению. Если мысль продолжить, получится то, что когда-то говорили: „Наши органы не ошибаются". (Имеются в виду органы печати тоже.)

В п. 5 Крымов любопытно цитирует фразу из моего письма. Здесь достаточно хороший образец недобросовестного цитирования и, по-видимому, читателю будет интересно сравнить написанное мною с тем, как прочел мои слова сотрудник „Лит. газеты".

Далее ... п. 6 — неплохой повод для шуток.

Хотя, предположим, что мы захотели бы ответить Крымову серьезно. Что получится?

В соответствии со статьями 2, 3, 10, 17 Положения о Прокурорском надзоре, Прокуратура осуществляет надзор за правильным соблюдением законов всеми должностными лицами и учреждениями. Следовательно, Крымов ошибается, считая, что пресса не подчинена прокуратуре. Теперь, допустим, какие-то люди думают, что следствие по делу Щаранского, не добившись успеха, компенсирует свою неудачу, создавая общественное мнение путем злонамеренного использования своего права публиковать в печати и разглашать следственные материалы. Почему же эти люди не могут обратиться с жалобой к Прокурору Республики? Крымов считает, что они потеряли „чувство демократизма". Но в конце концов, не велика беда! Эти люди собираются уехать из СССР, значит, есть надежда, что в конце концов они обретут то, что потеряли. Другое дело „чувство демократизма" тех, кто никуда не едет, т. е. самого Крымова: он вопреки закону все-таки считает, что наша пресса не подчиняется прокуратуре. Вдруг он прав? А может быть, его слова следует понимать так, что „Лит. газета" не подчиняется незаконным распоряжениям прокуратуры, которая, злоупотребляя своим положением, ущемляет свободу печати? Известны, конечно, примеры, когда отдельные лица не подчинялись распоряжениям прокуратуры, но ведь противоборство оказалось неравным, и пресса в этих случаях оказывалась как будто на стороне прокуратуры. Так вот, не за то ли ей сейчас столь необычная поблажка?

И, наконец, еще раз о статье. В статье Валентинова и Рощина есть нечто верное. Например, упрек в политической

спекуляции представителям демократического движения. Он не нов, и в целом ряде случаев вполне справедлив. Конечно, он не относится к тем, кто уходит в тюрьму с обвинением в „антисоветской агитации". (Сажают-то за агитацию, а не за спекуляцию.)

Но разве трудно понять? В демократическое движение люди приходят с разными намерениями и из разных слоев общества. Они читали газеты при Сталине, они читали газеты при Хрущеве, они и сейчас читают газеты... Их ли вина, что многое они усвоили не лучшим образом, допустим, из этих самых газет? „Политическая спекуляция" — обвинение модное, но, по-видимому, оно ярче проглядывает там, где потеряно чувство такта и скромности. Существует — как верно заметили Валентинов и Рощин — хорошее изречение двухтысячелетней давности: „Лекарю, исцеляйся сам". И будь авторы лекари более внимательны, они заметили бы, что их статья написана с нескрываемо большой амбицией и слегка развязно. Например: „Закон строг...", „Белградская встреча к нему никакого отношения не имеет" или „ ...все это явное вмешательство во внутренние дела нашей страны..., которого не потерпит ни одно уважающее себя государство",* или „Ни советское государство, ни советский народ не нуждаются в поучениях..."

Говорят — не знаю, правда ли — что Валентинов и Рощин — это псевдоним сотрудника Главного Управления КГБ при Совете Министров СССР Пономарева. Конечно, всякий вправе выбирать себе псевдоним, но, наверное, плохо, когда такое право становится обязанностью. Короче говоря, у авторов статьи „Шантаж" должно было бы хватить ума и такта не высказывать свои столь нескромные сентенции в адрес того народа, среди которого они сами, получается, что живут инкогнито.

* * *

— Вы, конечно, правы, — сказала машинистка. — Упрек в политической спекуляции, адресованный некоторым пред-

---

* Непонятно, почему другие государства не должны терпеть вмешательства в дела нашего государства.

ставителям демократического движения, обоснован. Но я не понимаю другое: зачем Правительству вообще было нужно подписывать Хельсинкские соглашения. Неужели наше Правительство не предполагало, что будет столько критики...

Не собиралось ли оно тоже спекулировать?

Приложение без номера. История, не имеющая отношения к делу.

Незадолго до описанных ниже событий к моей жене* на улице подошел незнакомый человек. Он назвал себя сотрудником КГБ Вячеславом Николаевичем и пожелал поговорить обо мне. Разговаривать с ним Соня отказалась, но у нее остались служебный телефон Вячеслава Николаевича и опасения, что тот захочет поговорить обо мне с ее матерью. Тогда я решил сам позвонить Вячеславу Николаевичу и сам поговорить о себе. Другого выхода я не видел. Наша встреча несколько раз откладывалась: то Вячеслав Николаевич был занят, то у него был день рождения. Поэтому когда мы, наконец, встретились, я держал в руке две бумаги. Одна — письмо лично ему, поскольку я уже потерял надежду встретиться с ним, другая — заявление, которое я совсем недавно отправил в прокуратуру.

В Прокуратуру г. Москвы Новокузнецкая, 27	От Альбрехта В. Я., проживающего г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 30, корп. 2, кв. 431.

Заявление

12 июля с. г. приблизительно в 21 час я был задержан сотрудником милиции по подозрению в совершении преступления. После проверки документов в комнате милиции на станции метро „Белорусская", меня отпустили. Спустя полчаса я снова был задержан. На этот раз меня привели в комнату милиции на станции метро „Водный стадион". Приехав-

*Тогда мы только собирались жениться.

ший специально инспектор уголовного розыска Воропаев (служ. удостовер. № 00686) учинил личный обыск без протокола и без понятых. Из моих бумаг его больше всего интересовал текст Всеобщей Декларации Прав Человека. (После разговора с кем-то по телефону все изъятое Воропаев вернул.)

Уважаемый гр. Прокурор, хотя со мною обращались почти вежливо, я не уверен, что подобные действия милиции правомочны. Кроме того, мне не объяснили, в каком конкретном преступлении я подозреваюсь или чем конкретно могу быть полезен. В комнате милиции на станции „Белорусская" речь шла о краже чемодана, а задержавшие меня на станции „Водный стадион" просто спросили меня, не пьян ли я, и разорвали лист бумаги с записанными фамилией и номером служебного удостоверения того милиционера, с которым я беседовал на станции метро „Белорусская". Что все это означает, не понимаю! Буду рад, если Вы что-нибудь мне объясните.

К изложенному вынужден добавить следующее: 8 декабря 1975 г. в той же комнате на станции метро „Белорусская" я выворачивал свои карманы в связи с подозрением в краже у гражданки Оттоновой 52 рублей; 19 января с. г. был обвинен во взрыве в метро. Меня обвинили в этом три неизвестных человека, которые пришли на работу и вызвали меня в кабинет директора.

14.07.77 г. С уважением (подпись)

Моих бумаг Вячеслав Николаевич на улице читать не захотел. Он сказал, что прочтет их потом и вернет. Получалось, что придется мне с ним встретиться еще раз. Но пока у меня есть, что ему сказать. Два пункта.

Вначале *пункт первый.* Пару лет назад я работал в хорошем учреждении на должности старшего инженера. Потом позвонили в отдел кадров из КГБ, и мне пришлось уволиться „по собственному желанию". Устроился в другое место, но и туда пришли „неизвестные" трое и сказали, что я взорвал метро. Теперь я ищу новую работу и хотел бы знать, оставят ли меня в покое на новой работе.

Пункт второй. Несколько лет назад я был женат. Как-то,

по постановлению Коллегии Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР, на квартире моей жены и тещи произвели обыск. Единственным результатом этого обыска был семейный конфликт, приведший к разводу. Потом я собрался жениться на девушке из города Харькова, но в КГБ Харькова у этой девушки взяли подписку, обязывающую ее тайно доносить на меня и моих знакомых. В результате мы расстались. Я, конечно, далек от мысли винить КГБ во всех своих неудачах, но знать намерения Вячеслава Николаевича в отношении моих личных дел очень хотел бы, тем более, что Вячеслав Николаевич сказал Соне, что наши с ней отношения бесперспективны. Почему он так считает, интересно.

По мере того как я говорил, лицо Вячеслава Николаевича принимало все более задумчивый и сочувствующий вид, а потом, сделав его еще и очень серьезным, он спросил: „А вот Вы сами не задумывались, почему именно с Вами все это происходит?"

Далее потек неторопливый и почти неутомительный монолог про идеологическую борьбу, про капиталистическое влияние и тому подобные страсти. Через полтора часа я знал наиболее важное: 1) наше диссидентское дело скверное, они все знают; 2) жена одного очень знаменитого диссидента говорит обо мне плохо; 3) мои рукописи никому не нужны, а лекции, которые я читаю отказникам, бесполезны. Почему его интересуют бесполезные, никому не нужные дела, он не объяснил, хотя я спрашивал его несколько раз. Впрочем, я больше слушал. Я старался узнать его получше, узнать, чтобы потом рассказывать другим. Он понимал эту мою цель. Почему же я не в состоянии понять его и его цели? Мы, очевидно, зря встретились, зря разговариваем. Он видит это лучше меня. Но ему приказали встретиться — и он встретился, приказали разговаривать — он разговаривает. Он не может отказаться от беседы со мной. А я — могу ли отказаться от столь редкого случая поговорить с человеком, который не может отказаться от беседы со мной? Кстати, и у меня вроде бы нет другого выхода тоже. Вот мы и беседуем:

— Мы знали, что Вы к нам придете. Мы теперь будем работать вместе, — шутит он.

— Велико знание, — отвечаю я, — мы всегда работали вместе. Мы ведь не в силах расстаться.

— А вот идет Слепак, — опять „шутит" он.

— Где?

— А... Испугался, что нас увидит Слепак?

Поскольку меня беспокоят его приставания к Соне, я снова пробую спросить, почему он не верит в серьезность наших с ней отношений. Он молчит, хотя вопрос вполне законный, если считать, что мои личные дела являются его служебными делами, а тем более, раз он предлагает вместе... Я спрашиваю, согласится ли он присутствовать при регистрации нашего брака. Да, — отвечает он. — Если измените взгляды".

— А если не изменю взгляды, Вы будете присутствовать тайно, под столом?

Он не ответил, зато приятно по-человечески усмехнулся. Мы расстались, делая вид, что нам очень интересно разговаривать и что мы с удовольствием встретимся снова. При этом каждый, наверное, думал о том, как бы в следующий раз получше опозорить другого, полагая, что об этом думает только он один. И все, по-видимому, из-за того, что у меня, так же как и у него, нет другого выхода.

Вячеслав Николаевич наговорил достаточное количество вранья, поэтому ко второй встрече я подготовился основательно. Я решил вежливо и логично доказать своему оппоненту, что он лгун и ничтожество, доказать на основании же его собственных слов. Этим я хотел убедить его и его организацию оставить Соню и меня в покое. Но и Вячеслав Николаевич, как выяснилось, не терял времени зря, и замыслы у него оказались куда оригинальнее моих.

Не успели мы отойти от памятнику Ивана Федорову — места нашей встречи, как я увидел свою знакомую Лену Сиротенко. Она подошла к памятнику и стала кого-то ждать.

— С кем Вы так любезно поздоровались? — спросил Вячеслав Николаевич.

— Увидел знакомую девушку и поздоровался, — ответил я. — Что тут особенного?

— Вы ее специально пригласили?

— Я никого, кроме Вас, не приглашал.

— А как же она появилась?

— Наверное, так же, как и все остальные люди на улице.

— Но мы договорились, что беседа будет „один на один".

— Не понимаю: о чем договорились?

— Как же? Вы просили, чтобы я пришел один.

— Да, просил. Ну и что? Я просил, чтобы Вы пришли один, но я вовсе не давал обязательство, что я тоже приду один. Вы — организатор, я — частное лицо. Разница есть? Впрочем, зачем без толку спорить? Еще раз повторяю: никого я с собой не приглашал, но обязательства не приглашать не давал.

— Я проверю.

— Не сомневаюсь.

. . . .

— Знаете что... Если она спросит про меня, Вы скажите, что я Ваш знакомый из Киева.

— Не понимаю...

— Ну, скажите, что я Ваш знакомый из Киева.

— Не понимаю. Я свободный человек. Я никому не обязан отдавать отчет о своих встречах. Зачем Вы учите меня врать?

— Я совсем не учу Вас врать. Я просто прошу Вас как человека...

— Вы просите сказать ложь...

. . . .

— А все-таки почему она именно сюда пришла?

— Вы забыли? Вы обещали это выяснить.

— Да, я выясню.

— Не забудьте.

— Не забуду.

Здесь, как мне показалось, мы оба пожелали сменить тему разговора, поэтому я начал осторожно осуществлять свой заранее намеченный план.

— В прошлый раз, — начал я, — Вы сказали, что на Л. была „чистая 64 статья". Тем не менее Л. уехал. Получается, таким образом, что Ваше ведомство помогает преступнику избежать наказания. Получается, Ваша организация преступна?

— Л. — наш человек.

— Если Л. Ваш человек, Вы, наверное, не вправе сообщать мне служебную тайну.

— Я, Владимир Янович, проговорился.

— То есть проболтался. А до этого, помните, Вы сказали неправду про день своего рождения. Вы сказали, что не можете встретиться со мной, так как у Вас день рождения. Потом выяснилась совсем другая причина — перед тем, „как выйти на меня", Вы должны были посоветоваться с товарищами. Не так ли?

— Не стоит заниматься мелочами.

— Понимаю. Ваша сфера — крупные проблемы.

— Владимир Янович, Вы сами добивались этой встречи.

— Пусть будет так, но где я взял Ваш служебный телефон? Я беседую с Вами, потому что Вы не даете мне жить по-человечески.

— Вы хотите жить по-человечески? Живите. Вам никто мешать не будет.

Теперь разговор быстро идет в тупик: получается, что надо идти домой и жить по-человечески. А как жить, чтобы он не приставал? Он говорит, что я сам знаю Когда разговор зайдет в тупик, я начну новую тему, с той же целью, и так до конца. К сожалению, сегодня Вячеслав Николаевич разговаривает вяло, часто и подолгу задумывается. Видно, что встреча с Леной Сиротенко его сильно огорчила. Пробую успокоить — не получается.

Мы прощаемся, на сей раз более охотно. Хотя каждому, должно быть, не терпится сказать в конце что-нибудь значительное.

— В следующий раз, Владимир Янович, фамилии, факты...

— Какие факты?

— Будем работать вместе.

Странно. Меня даже бодрит его упрямая детскость. Его непосредственность поразительна. Я почти умилен.

— Было бы интересно, — говорю я, — посмотреть текст присяги, которую Вы даете, приступая к службе.

— Ничего особенного. Обычная бумажка. Вы в армии служили?

— Обычная бумажка? Удивительно! Для Вас обычная бумажка?

— Ну, Вы не придирайтесь к словам.

Для чужих бед всегда легко найти чувство юмора. Но вот пошли свои беды. В большой статье по поводу харь-

ковских отказников местная газета помянула недобрым словом и меня, и мои скромные лекции. На работе стали возникать разные странности, которые, как показывает мой предыдущий опыт, не предвещают ничего хорошего. К тому же один мой случайный знакомый случайно видел, как я прогуливался по улице с кагэбэшником, которого он случайно знал. Таким образом, случайно возникли слухи, что я стукач. Зато, казалось бы, я имел повод и время оценить собственную глупость и сделать, наконец, выводы. Но куда там — чем больше я думал, тем больше мне казалось, что с Вячеславом Николаевичем я разговаривал непростительно вежливо. А тут выяснилось, что у Вячеслава Николаевича , того, что приставал к Соне, были совсем другого цвета волосы, другие, чем у „моего" Вячеслава Николаевича. Надо сказать, выяснилось и то, каким образом Лена Сиротенко появилась на месте нашей встречи: неизвестный человек позвонил ей по телефону и убедил прийти для ее же пользы. Польза, вероятно, состояла в том, чтобы меня скомпрометировать. Итак, я не выдержал и позвонил. Мы снова встретились, и я подробно, очень и очень понятно объяснил ему, что я о нем думаю. Он вначале даже не понял. Он спросил: „Зачем Вы меня вызвали?"

— А вот только для того, чтобы все это сказать.

Я стремился вспомнить и описать подробно все мелочи, все детали моих разговоров с Вячеславом Николаевичем. И чем больше стремился, тем более очевидным становилось, что текст не интересен, несмотря на все мои потуги на остроумие.

Поразительно, думал я, какой могущественный человек Вячеслав Николаевич — и какие неинтересные беседы. А удивляться стоило совсем другому. Я забыл то, что знал и понимал всегда, забыл самое основное — Вячеслав Николаеви фактически подпольщик, партизан, фактически он на нелегальном положении. Принимая его как реальную власть, я, по сути дела, принял его предложение считать реальную власть нелегальной. Однако на деле нелегальными могли быть только наши с ним дела и действия.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

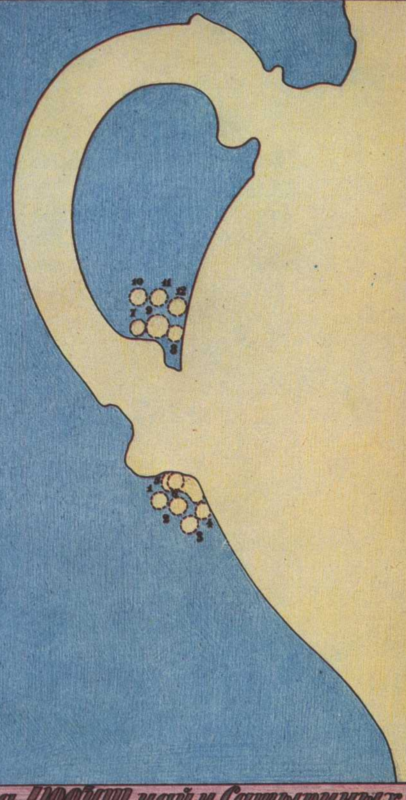
ПОЧЕМУ НЕ ПОГОВОРИТЬ
(вместо предисловия) 3
ПЕРВЫЙ ДОПРОС ПО ДЕЛУ
ЩАРАНСКОГО 16
ВТОРОЙ ДОПРОС ПО ДЕЛУ
ЩАРАНСКОГО 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 66
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 74
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 95
ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЗ
НОМЕРА 104

imprimerie "syntaxis"
8, rue boris vildé
92260 fontenay-aux-roses
france

На первой странице обложки:
О. Яковлев — Композиция, 1976
картон, темпера
30,5 х 21,5

На последней странице обложки:
И. Кабаков — Из альбома "Анна Петровна видит сон", лист № 7, 1973.
бумага, цветной карандаш
51,5 х 35

История Анны Петровны.



Ольга Марковна пьет чай у Сатыриных.

У. обозначения:

1 Ольга Марковна Косс.
2 Стол со вкусным чаем.
3 Брунова Валя.
4 Ева Павловна Сатырина.
5 Диван.
6 Николай Изотович Сатырин.
7 Оля Мамлюкова.
8 Анна Борисовна Мамлюкова.
9 Стол с чаем.
10 Клавдия Боровых.
11 Аркадий Мамлюков.
12 Николай Иванович Мамлюков.

И. Кабаков 73 г.